

А. А.
БЕСТУЖЕВ-
МАРЛИНСКИЙ

Сочинения



Александр Александрович Бестужев-Марлинский

Фрегат «Надежда»[1]

Посвящается Екатерине Ивановне Бухариной[2]

В начале бе слово.

Княгиня Вера *** к своей родственнице в Москву

О, как сердита я на тетушку Москву, что ты не со мной теперь, мой ангельчик Софья! Мне столько, столько надо рассказать тебе... а писать, право, нечего. Я так много прожила, столь многому навиделась в эту неделю!.. Я так пышно скучала, так рассеянно грустила, так неистово радовалась, что ты бы сочла меня за отаитянку[3] на парижском бале. И поверишь ли: я уж испытала, та chérie[4], что удивление – прескучная вещь и что новость приторнее ананасов. Двор и свет так закружили меня, что я могу выслушать самую безвкусную нелепость не поморщась, увидеть прелестнейшую картину без улыбки. Но петергофский праздник[5], но сам Петергоф – о, это исключение, это жемчужина исключений!.. У меня еще до сих пор рябит в глазах и в уме, звенит в ушах от грома пушек, от кликов народа, от шума фонтанов и волн, рассыпающихся звуками о берега. Внимательно мы слушали, жадно, бывало, поглощали мы описание петергофских чудес с тобою; но когда я их увидела наяву, они поглотили меня, я забыла все, даже тебя, мой ангельчик! Я летала в небо вместе с водометом[6], падала вниз пуховою пеною, расстилалась благоуханною тенью по аллеям, дышащим думою, играла солнечным лучом с яхонтовыми волнами взморья. Это был день, – но что за ночь его увенчала!.. Залюбоваться надо было, как постепенно загоралась иллюминация: казалось, огненный перст чертил пышные узоры на черном покрывале ночи. Они раскидывались цветами, катились колесом, вились змеей, свивались, росли, – и вот весь сад вспыхнул!.. Ты бы сказала: солнце упало на землю и, прокатись, рассыпалось в искры... Пламенные вязи обняли деревья, перекинулись цветными сводами чрез дороги, охватили пруды звездистыми венками; фонтаны брызнули как вулканы, горы растаяли золотом. Каналы и бассейны жадно упивались отблесками, перенимали узоры, двоили их и, наконец, потекли пожаром. Ропот народа, сливаясь с шумом падающих вод и тихо выблемых дубрав, оживлял эту величавую картину своею дивною гармоникою... то был голос волшебника, то была песня сирены[7]. Часу в одиннадцатом ночи весь Олимп спустился на землю. Длинные колесницы понеслись по саду, и, право, блестящие дамы двора, которые унизывали их, подобно ниткам жемчужным, могли издали показаться мечтой поэта, – так блестящи и воздушны были они... не исключая и меня. На мне тогда было глазетовое платье, которое, не знаю, право, почему, называется при дворе русским, испод белый атласный с золотом... Что за фасон, что, за шитье, Софьюшка, – хоть на колени стать перед ним! Новый берет с райскою птичкою (мне подарил его вчера муж мой) очень шел ко мне, и если б я не верила зеркалам, то одобрителный около меня ропот мужчин мог бы убедить самого Фому неверующего[8], что твоя кузина очень недурна. Но ты ждешь, верно, описания петергофского маскарада, m'amie? [9] Боже мой! да откуда я возьму памяти или порядка!.. В голове моей образы толкуются будто мошки... Генеральские звезды гонят с неба звезды неба, учтивые рыбы Марлийского пруда

[10] пародируют вместе с гвардейскими болтунами, которым не худо бы взять у первых несколько уроков скромности, и я не могу вспомнить камер-юнкера, чуть не плачущего над разбитым лорнетом, чтобы мне не представился Сампсон, раздирающий льва[11]. Статуи Аполлона Бельведерского и Актеона танцуют передо мной польский с графиней Зизи или княжню Биби... и я, право, боюсь, что начну рассказывать тебе про комплименты князя Этьеня, а заключу грибом, точащим воду.[12]

Впрочем, все говорят, что маскарад был из самых блистательных, то есть давно не было истрчено такого множества румян и блесков, свечей и любезности. Твой дядюшка, *le cher homme*[13], навешал на себя столько украшений, что насмешники уверяли, будто он готовится к художественной выставке, а дородную москвитянку нашу, княгиню Z., за огромный шлейф ее, сравнивали с зловещею кометой, и совершенно даром: она так ловко носила хвост свой, как лисица. Ты помнишь, я думаю, высокого адъютанта, который смешил нас прошлую зиму своими наборными фразами, пахнувшими юфтью Буаста[14]?.. *Eh bien, Sophie*[15], про него генеральша T. сказала, будто он доказал ей, что и башмаки есть оружие наступательное!.. Да где мне пересказать тебе все остроты или все плоскости, которые сыпались в толпе, как мишура с платьев! где мне припомнить всех, с которыми прогуливалась я, рука с рукой, в этом маскараде! Около меня змеями вились золотые и серебряные аксельбанты, и не одна генеральская канитель, не один черный ус трепетали и крутились от удовольствия, когда я произносила: «*avec plaisir, monsieur*»[16]. Ах, как мне надоели эти попугаи с белыми и черными хохлами на шляпах, милочка!.. Они, кажется, покупают свои фразы вместе с перчатками. Как наши старинные московские обеды начинались холодным, так у них неизбежно отправляется вперед вопрос: «*Vous aimez la danse, madame?*»[17] Нет, сударь! Я готова возненавидеть танцы из-за танцоров, которые, как деревянная кукушка в часах моей бабушки, вечно поют одно и то же и наводят тоску своим кукованьем. Беда с такими кавалерами, но с прославленными остроумцами – вдвое горе! Они жгут мозг свой, чтобы выжечь из него каплю розовой воды или уксуса.

– Вы привлекаете на себя все глаза и все лорнеты, – говорил мне один дипломат, покачиваясь так важно, как будто бы от его равновесия зависело равновесие Европы. – И посмотрите, княгиня, как загораются, как блестят все взоры, встречаясь с вашими; *c'est un veritable feu d'artifice*. [18]

– Не совсем, – отвечала я ему, – *je vois beaucoup d'artifice, mais ou est done le feu?*[19]

Поверишь ли, *ma cherie*, что в этом потоке голов, в этом млечном пути глаз голубых, серых, черных ни одно лицо не улыбнулось мне, как бы я желала, ни один взор не горел ко мне участием, – я не нашла в них ничего оригинального, ничего стоящего смеха или мысли. «Как мало здесь кавалеров!» – говаривали мы в Москве белокаменной; «как мало людей!» – говорю я здесь. Бесхарактерность провела по всем свой ледяной уровень. Напрасно будешь вглядываться в черты – не узнаешь ввек, какому народу, какому мнению принадлежат эти люди. Под улыбкой нет выражения, под словом не дороешься мысли, под орденами – сердца. Это какая-то картина, покрытая ослепительным лаком... ее дорого ценят по преданию, хотя никто не понял, что она изображает. Во весь сегодняшний вечер, в целый вечер, не удалось мне ни услышать, ни подслушать ни одной речи, которая бы врезалась в память. Говорили, говорили они, – да чего они не говорили, а что сказали? Только один, разговаривая со мной, сделал довольно удачное сравнение.

– Посмотрите вдаль и вкруг, – сказал он, – не правда ли, что этот бал похож на английский сад? Перья и цветы на дамах качаются, как прелестный цветник от поцелуя зефира. Там тянется польский, будто живая дорожка; там купы офицеров с зыбкими султанами стоят, как пальмы. Вот Уральский хребет в шитом златоносными песками мундире! Вот пещера с отголоском, повторяющим сто раз слово я. Далее: в этом горбуне вы видите мост, который никуда не ведет; везде золотые ключи, которые ничего не отпирают; тут погребальную урну, хранящую французский табак, и девушек, бродящих окрест с невинными мечтами овечек.

Даже, – продолжал мой насмешник, лукаво взглядывая на ряды пожилых дам, – если позволено вздуть сравнение до гиперболы, мы можем найти здесь не одну живописную развалину, не один обломок

Китайской стены, не одну готическую башню, из которой предрассудки выглядывают, как совы.

– Bon Dieu[20], как вы злы! – возразила ему я. – Разве нельзя для сравнения найти предметов более игривых? Вы бы могли, например, поместить какой-нибудь победный памятник, какой-нибудь храм в этом саду, так же как в Царском Селе.

– В таком случае, – сказал мой партнер, раскланиваясь, – я беру на себя роль роstralной колонны[21]; но храмом, и притом храмом любви, будете вы!

Я с улыбкой взглянула на приветника... Как жаль, что он немолод и некрасив; и потом этот долгий, тонкий нос – самая неудачная его острота...

Мы уж дома.

Любви? любви? – зачем эта мысль впелась в мое сердце, закабаленное свету, как эта живая роза в хитросплетенные косы мои? Почему не могу выбросить ее за окно, как я бросаю эту розу? Отчего я вздыхаю каждый раз, когда о ней услышу, и чуть не плачу, когда о ней вздумаю! О, добрая моя Софья! резвая, беззаботная подруга моего девичества! Если б ты знала, из какого тяжелого металла льются брачные венцы, если б ты поверила, что коробочка Пандоры[22] есть необходимый свадебный подарок, ты бы пожалела меня. Столько блеску, и так мало теплоты! Бегу навстречу к мужу моему, с горячностью ласкаюсь к нему... но он принимает меня, как учитель дитя он только терпит мои ласки, но не ищет их, не отвечает на них. Я почти только и вижу его за столом... и тогда трюфели заманчивее для него всех очей в мире. Домой привозит он только усталость от службы и скуку от искательства, и когда любовь моя просит взаимности, он, зевая, говорит приветствия!.. Нужны ли мне уборы, экипажи – он сыплет деньгами. Вздумается ли мне быть там и там – он не скажет нет, лишь бы я его не звала с собою; а его улыбка, его радушное слово дороже мне гостинца, и за один поцелуй я бы готова неделю просидеть дома. «Это почти жалоба», – скажешь ты, моя милая. Нет, душечка! это миг нетерпения, это пройдет; я только мимоходом хотела заметить, что грустно, очень грустно не иметь прихотей, которые бы не исполнялись, между тем как единственное справедливое желание безответно и безнадежно!.. Сердце мое вянет на холодной золотой звезде... вянет... и где любовь, где самая дружба, чтоб оживить его слезою участия?!

Полночь. Темно и тихо кругом... только море, как любовник, грозит и ластится к камням Монплезира[23], в котором живем мы; только вдали повременно мелькают на яхтах огоньки, как неясные мысли. Грусть клонит меня ко сну... До завтра, моя милая Софья.

Петергоф, 1 июля 1829 года.

Письмо второе

от той же к той же

Закладую свою слезу против блески, да, слезу, десять, двадцать слез даже (а это для меня не безделица, как ты знаешь, милая кузина), – ты никак не угадаешь, где я была сегодня. На гулянье верхом, на танцевальном завтраке? – скажешь ты. О, нет, это слишком обыкновенно. На смотре войск? Мимо. На фейерверке? Еще того менее. Я каталась, и знаешь ли где, и

поверишь ли на чем?.. Не в пруде на пароме, не в реке на ялике, – вообрази себе... я каталась в открытом море, на сорокашестипушечном фрегате! О, я – уверена, что твое московское воображение, не издавшее нигде бури, кроме Чистых прудов, бледнеет перед мьтслию о неизмеримости, об ужасах моря. Сушие пустыки, моя милочка! Мода и нас, робких женщин, может производить в героини, а раз ступивши на палубу, скоро ты приглядишься к страху, что в океане будешь как в гостинной. Ну, право, море – премилое создание, и мне так полюбилось оно с первого визита нашего знакомства, что я готова бы совершить путешествие кругом света. Вообрази себе... но нет... лучше себе припомнить, что надо начать сначала... m'y voila.[24]

Я надеюсь, ты слышала, как нынешний государь любит флот?.. Он воскресил его, он вдохнул в него русскую силу и дал ему чистые лавры под Наварином[25]. Государю угодно было угостить двор и посланников прогулкою по морю; и в самом деле, какое угощение от достойного внука Великого Петра могло быть царственнее, величественнее отого! Катера были готовы, утро – прелесть... Двор начал размещаться... Признаюсь, неохотно рассталась я с беретом; казалось, мне больно оторвать стопу от земли, и я с трепетанием сердца спрыгнула в катер. Но когда весла грянули, когда длинная вереница шлюпок, из которых каждая подобилась плавучей корзине с цветами, ринулась в море, и впереди всех орлом полетел двадцативесельный катер, несущий в себе славу и надежду России; когда берега стали бегом уходить от нас, а далекий Кронштадт с дремучим лесом мачт поплыл к нам навстречу, – тогда безграничное море развилось за ним, синее и сверкая... страх мой перелился в тихое, новое для меня наслаждение, и мне стало так хорошо в ладье, будто в колыбели когда-то.

И вот миновали мы Кронштадт и приблизились к эскадре, готовой вступить под паруса. Матросы унизывали все снасти, все реи в узор и кричали ура! Едва государь с высочайшим семейством взошел на адмиральский корабль, весь флот поднял якоря, и катера наши приставали к ближним кораблям наудачу... Вид был восхитительный! Упавшие паруса образовали словно плавучую стену с огромными башнями. Мы долго спорили со своими подругами о выборе: одна хотела стонушечного корабля, толстого, как наш председатель палаты; другая, более умеренная, довольствовалась семидесятным, лишь бы на нем веял флаг контр-адмирала[26]; третья желала сесть на раззолоченную, разряженную, будто на бал, яхточку. Не знаю почему, только мне всех более понравился стройный фрегат, идеал легкости, красоты и силы. Он так гордо бросал в облака свои стрелы; долгие флюгера его так остроумно и прихотливо сверкали в воздухе, он сам так важно колебался на волнении... пушки его с таким любопытством выглядывали на нас из окон, что во мне родилось непреодолимое желание видеть это милое чудовище у себя под ногою. Не знаю, красивее ли всех или настойчивее всех подруг моих на катере была я, только победа осталась за мною. Офицер гвардейского экипажа, который левою ногою управлял кормилом нашей двенадцативесельной республики, отдал честь моему вкусу и поворотил под корму моего любимца. На поясе резвой его галереи золотыми буквами написано было: «Надежда». Это одно слово стоило предпочтения.

Висячая лестница устлана была флагами... Входим... Вообрази себе! Нет, ты не можешь себе вообразить, что я там увидела! Не знаю, с чего начать, не знаю, можно ли кончить!.. То был новый мир, то была чудная поэма. Помост чистый, вылощенный, как стол; снасти, закрученные завитками, блоки, сверкающие как серьги, сетки, сплетенные фантастическими кружевами, медь горит как золото; чугун орудий как сизое вороново крыло! И потом – эта стройная суета кругом... это необозримое раздолье перед очами!.. По звуку серебряных свистков, казалось, великан наш размахнул широко руками, чтобы поймать ветер; грудь его надулась, и он, с каждым мигмом ускоряя бег, ринулся, наконец, прямо, пожирая пространство. Голова моя закружилась каким-то обаятельным вихрем, и когда глаза мои прояснили опять, они встретились с очами капитана корабля, которого не разглядела я сначала, хотя он и приветствовал нас при встрече. Природа, как говорит Шекспир, могла бы указать на него

пальцем и сказать: вот человек[27]! Высокий, стройный стан, благородная осанка и это не знаю что-то привлекательное в лице, нисколько не правильном и столько выразительном, отличали его от прочих. Но глаза его – что это были за глаза, моя Софья! – влажные, голубые как волна моря, они сверкали и хмурились подобно волне, готовой и лелеять и поглотить того, кто ей вверится. В приемах его не было модной вертляности; в нем заметна была даже какая-то крутость, какая-то дикость, происходящая, быть может, не от замешательства; со всем тем это очень шло к нему. Он, краснея, говорил с нами; он опускал очи перед взорами дам, и сначала голос его дрожал как металлическая струна цитры. И вот наш дикарь оправился, поднял свои огнистые очи, стал рассказывать нам о всех эволюциях[28], о назначении каждой вещи так мило, так занимательно, так шутивно, что мы, женщины, забыли свою обычную болтовню и разве-разве вплетали в гирлянду рассказа кой-какие вопросы. Я упала с облаков, *ma chérie*. Судя по слухам, я самого любезного из моряков считала немного половчее моржа, играющего на гитаре, которого показывали в кадке под качелями, а тут нечаянно встретила на досках палубы человека образованного, хотя и в шляпе без султана, даже без плюмажа, – человека, который бы украсил любой паркет столичных гостиных. Занимаясь нами, он не забывал, однако, своей обязанности, и одно слово, один взгляд его двигали громаду корабля – эту гениальную мысль, одетую в дуб и железо, окрыленную полотном.

Мы сошли вниз; какая изысканность в роскоши кают! какой тонкий вкус в украшениях! Строй орудий вооружал оба борта. Ядра низались кругом красивыми бусами. Копья, топоры и все абордажные оружия развешаны были, как галантерейные вещи. Посредине просторного дека [29] (я вамучу тебя морскими шарадами) разевал свою пасть огромный люк, то есть отверстие, сквозь которое далеко, глубоко внизу, во мраке, глаз с ужасом распознавал ряды бочек и лапу огромного запасного якоря – надежда всегда остается на дне. Мужу моему всего более понравилась чугунная кухня со всеми затеями гастрономии. Когда ему поднесли на пробу кусок говядины, назначенный для команды, он повторил фразу Лареньера: «*Ainsi cuit on aurait mange son pere*».[30]

Наконец капитан незаметно свел нас *au fin fond de Fenfer*[31], и сердце у нас сжалось; мы все ахнули от страха, когда он сказал нам, помахивая свечкою, что мы находимся теперь в пороховой камере, в сердце корабля. Мне уже показалось, что заряды, несмотря на уверение, что они заключены в ящиках, прыгают около меня, как шутихи[32], что все горит около, что я дышу, что я задыхаюсь пламенем, – я быстро выпрыгнула на свежий воздух.

– И точно, вам всех более должно было опасаться взрына, – шутя молвил капитан, – один взор таких глаз – и какое сердце не взлетит на воздух!

Я на него взглянула.

Между тем эволюции шли своей чередой. Флот катился в открытое море; берега тонули. По приказу адмирала, высказанному флагами, корабли то строились в две линии, то обращались в другую сторону, то прорезывали одну линию другою... точно шахматы титанов; и мы так близко миновали другие корабли, что могли меняться приветами со своими знакомыми. Наконец император поднял свой штандарт[33], и едва победоносный орел взмахнул крылами в золотом поле – вмиг салютные выстрелы загремели, со всех судов. Ах! какой это был прелестный ад! Сначала клубы дыма отдельно катились по волнам, но скоро все море превратилось в жерло вулкана. Ветер не успевал разнести одну тучу, а уж другие напирали все выше и выше, все чернее и чернее. Не говорю о громе; я думала, что я на вечность оглохну, так что и страшной трубы не услышу. С кормы любовалась я на валы дыма и моря... Капитан фрегата стоял подле, задумчиво устремя на меня очи; мы молчали, да и можно ли было говорить под говором тысячи чугунных кумушек; но мне было так весело, будто игривый сон носил меня на крылах в пространстве. Вдруг, в трех шагах от меня, раздался еще выстрел и вслед за ним крик: «Упал, упал человек, тонет!» Я обмерла. Один кононер, прибывая заряд, был оглушен нечаянным его взрывом и с подмостков[34], на которых стоял

он, сброшен за борт... В один миг несчастный очутился за кормою... потеряв память, он только крутился в пенной борозде, вьющейся вслед руля. Ни одной шлюпки не было спущено, а сброшенный ему поплавок плыл в другую сторону... Он уже погружался, еще миг – и он бы исчез; но в этот миг капитан бросился с борта в море, – все ахнули, все прильнули к поручням; верхние пушки умолкли; и вот он вынырнул, схватил утопающего, плывет к кораблю, но корабль уходит... человеческая воля не может вдруг сдержать разбежавшуюся громаду. Ужас оледенил нас, когда увидели, что спаситель изнемогает под тяжестью: он стал кружиться на месте, окунулся, опять всплыл, опять ушел, и долго-долго не было видно его!.. Вот золотой эполет блеснул из седой пены, но это было на два мгновения... Я уж не могла ничего видеть, и когда раздирающий душу крик: «утонул!» раздался кругом меня, я потеряла чувства...

Как сладостно возвращаться к жизни, покуда одно телесное чувствует этот возврат, покуда какая-нибудь горестная мысль не пронзит ума... Так было и со мною. Вдруг воспоминание о гибели великодушного капитана сжало мне сердце будто стальною перчаткою, едва-едва я стала приходить в себя. Я с криком открыла глаза – и кто бы, думаешь ты, стоял за мною, орошая меня струями воды, текущей с утопленника как с зонтика. Ты угадала – это был он!..

Закрываю письмо, как я закрыла тогда глаза, чтобы хоть минутою долее насладиться таким сновидением... я была им так счастлива!.. О, дай мне еще раз улететь из светской жизни; дай мне, как пчеле, упиться росой этого цветущего воспоминания, я хочу забыться, хочу забыть, я забываю все остальное...

Петергоф, 2 июля 1829 года.

I

...E per questo, quand'io veggo clie g-li uomini cercano per una certa fa-talita le sciagure COQ la l'anterna, e clie vegliano, sudano, piangono per fabbricarsele doloresissime, eterne – io mi sparpaglierei le cervella temen-do clie non mi cacciasse per capo una simile tentazione.[35][36] Ugo Foscolo

Две недели спустя после императорского смотра флоту в кают-компании фрегата «Надежды», часу в одиннадцатом ночи, за ужиным столом сидел один уже лекарь Стеллинский. Все прочие офицеры разошлись по своим каютам, но сын Эскулапа, по достохвальной привычке, остался для химического разложения вновь привезенного портвейна. Рассуждая и прихлебывая, потом прихлебывая и рассуждая, он дофилософствовался до премудрого сомнения: голова ли вертится на плечах, или предметы около головы? Склоняясь более к последнему мнению, лекарь, казалось, поджидал, когда подойдет к нему одна из недопитых бутылок, танцующих перед ним оптический польский. Он, правда, порывался раза два отхлопнуть эту красавицу у свечи, тускло сиявшей между бутылками как разум между страстями, но глазомер изменял желанию, и длань героя блуждала в пространстве: окаянная шейка увертывалась из-под его пальцев не хуже школьника, играющего в жмурки. На беду, качка усиливалась с каждою минутою, и борьба силы самохранения с силой, влекущею лекаря к бутылке, по закону механики, вероятно кончилась бы тем, что его туловище отправилось бы по диагонали, проведенной от его носа под стол, но, к счастью, стол был привинчен к полу, и Стеллинский так вцепился в него руками, как будто хотел спастись на нем от потопления. В это время в кают-компанию вошел вахтенный лейтенант... его только что спустил товарищ поужинать. Скидывая измоченную дождем шинель, он уже смеялся на проделки Стеллинского.

– Эге, Флогистон ХИНИНОВИЧ[37], – молвил он, – ты, кажется, бедствуешь!.. Смотри, брат, не подмочи своих анатомических препаратов.

– Не бойтесь, не испортятся, – отвечал лекарь, размахнув руками как балансер на веревке шестом, отыскивая центр своей тяжести, – я их сохраняю в спирте!

– Прекрасное средство, – сказал лейтенант, глотая рюмку водки, – отличное средство, и я прошу извинить меня, господин доктор, что употреблю его теперь без вашего рецепта.

– Стократ блаженны те, которые лечатся и умирают по рецептам... Неужели вы, Нил Павлович, считаете рецепты бесполезными?

– Напротив, я считаю их преполезными – для закуривания трубок, – отвечал лейтенант, буквально врезавшись в кусок ростбифа и столь же проворно выпуская речи, как глотая говядину.

К счастью, что портвейн служил тому и другому путем сообщения, так что слова и ростбиф расплывались, не зацепляя друг друга.

– Как, сударь, рецепты?.. ре-ре-цепты? О, sana insania![38] Жечь векселя на получение здоровья!

– Скажите лучше, контрамарки на вход в кладбище. Впрочем, мне случалось не раз быть больным; не раз писал мне мой доктор и рецепты вдвое длиннее своего носа, хоть нос у него являлся накануне, а сам завтра. Я очень набожно брал их между большим и указательным перстами, держал на чистом воздухе в горизонтальном положении минут по пяти...

– И потом?.. – спросил лекарь, изумленный этим средством симпатической фармакопеи.

– И потом – пускал на ветер. Желудку моему от того было не хуже, а кошельку вдвое лучше.

– Вы, конечно, любите Ганеманновы выжидающие средства[39], Нил Павлович... и, надеясь на природу, подвиньте, пожалуйста, бутылку.

– Но ты, кажется, не гомеопат, Стеллинский, не хочешь ждать, чтоб природа подала тебе бутылку, и вместо капельных приемов тратишь столько вина зараз, что им бы, по методе Ганеманна, можно было напоить допьяна всех рыб Финского залива на пятьдесят лет, не считая этого. Однако, чем черт не шутит, разве не попадают порою в цель с завязанными глазами! Итак, вам же поклон, любезный внук Эскулапа. Вместо того чтоб ловить ночью мух, пошарьте-ка в кивоте своего гения – не отыщете ль в нем какого-нибудь действительного средства против сумасшествия?

– Разве вы хотите лечиться? – лукаво спросил лекарь, между тем как лицо его сморщилось в гримасу, которую в великий пост можно было бы счесть за усмешку.

– Ай да Флогистон Кислотворович! Славно, брат; право, хоть куда. Иной подумает, что ты изобрел этот ответ натошак. Но я все-таки ложусь на прежний румб и повторяю вопрос мой. Ты теперь в восторженном состоянии, в возвышенной температуре, так что зерном пороху, которое, сгорая, расширяется в тысячу раз против прежнего объема...

–..Sic est...[40] притом же масоны красное вино называют красным порохом... картуз в дуло!.. Ну, теперь я заряжен. Итак, – продолжал, крякая и охорашиваясь, лекарь, – итак, вам угодно знать лекарство против сумасшествия?.. Гм! ге! Древние, между прочим и отец медицины...

– То есть мачеха человечества... – ввернул словцо лейтенант.

– Гиппопократ, думали, что частое употребление галлебора, то есть чемерицы, или в

просторечии чихотки, может помочь, то есть облегчить, или, лучше сказать, исцелить, повреждение церебральной системы... Да и почему же не так? Разве не знаем, или не видали, или не испытывали вы сами, что щепотки три гренадерского зеленчака[41] могут протрезвить человека, ибо нос в этом случае служит вместо охранного клапана в паровых котлах, чрез который лишние пары улетают вон. А поелику и самое безумие есть не что иное, как сгущенная лимфа, или пары, или мокроты, именуемые вообще *serum*, которые, отделяясь от испорченной крови, наполняют клетчатую мозговую плеву (в это время лекарь любовался гранеными изображениями стакана, из которого он орошал цветы своего красноречия)... гм, ге!.. плеву и, постепенно действуя и противодействуя сперва на тунику[42], потом на перикраниум, а наконец и на белое существо мозга... А, это, верно, птица, или пава?.., почему Авиценна[43] и Аверроэс[44], даже сам Парацельс[45]... Пава, точно пава!.., советуют диету и кровопускание! Другие же, как, например, Бургав[46], действуют шпанскими мухами[47], vessicatorиями[48] и синапизмами[49]; третьи, чтоб сосредоточить ум, вероятно разбежавшийся по всему телу, бреют голову, льют холодную воду на темя и охлаждают его ледяным колпаком...

– Чтоб черт изломал грота-рей на голове проклятого выдумщика такой пытки! Мало содрать с живого кожу – так давай закапывать в лед, как бутылку вина на выморозки! Вся ваша медицина – уменье променивать кухонную латынь на чистое серебро, покуда матушка-природа не унесет болезни или ваши лекарства – больного!

– Прошу извинить, Нил Павлович... медицина... за ваше здоровье... происходит от латинского слова... как бишь его... ну да к черту медицину!.. А безумие, как имел я честь доложить, делится на многие разряды. Во-первых, иа головокружение, во-вторых, на ипохондрию, потом на манию, на френизию[50]...

– И на магнезию...

– Как на магнезию? Это что за известие? Магнезия не болезнь, а углекислая известь, а френизия, напротив...

– Есть вещь, о которой вы часто говорите, которую вы редко вылечиваете и которой никогда не понимаете... Не правда ли, наш возлюбленный доктор?

– Правда на дне стакана, Нил Павлович...

– То-то ей, бедняге, и достаются одни дрожжи.

– Пускай же она и вьется в них, как пескарь, – мы обратимся к нашему предмету.

– То есть к вашему предмету, доктор.

– Гм! ге! Вы верно не знаете, что многие врачи причисляют к безумию головную боль, цефальгию[51] и даже сплип!

– Не знаю, да и знать не хочу.

– Вещь прелюбопытная-с... Вообразите себе, что однажды (это было очень недавно) некто знаменитый русский медик, анатомируя тело одного матроса, нашел... то есть не пашел у него селезенки, сиречь *spleen*[52], которая и дала свое название болезни. Из этого заключили, что человек одарен в ней лишнею частью, без которой он легко бы мог жить. Правда, иные утверждают, будто в животной экономии селезенка необходима для отделения, желчи, но лучшие анатомисты до сих пор находят ее пригодною; только для гнезда сплина, считают украшением, помещенным для симметрии...

Медицинские лекции так еще свежо врезаны были в. памяти лекаря, что он и пьяный мог

говорить чепуху с равным успехом, как и натрезве; но лейтенант, который кончил уже свой ужин, остановил оратора, так сказать, на самом разлете.

– Устал я слушать твою микстуру, любезный доктор.. Вам, ученым людям, все то кажется лишним, чему вы не отыщете назначения, и если б вы не носили очков и тавлинок[53], то, чай, и нос осудили бы в отставку без мундира. Не о том дело, можно ли жить без селезенки, а о том, что худо служить без ума. Мне кажется, исчисляя: виды сумасшествия, ты пропустил самый важный, и этот вид называется любовь, и больной, зараженный ею, – капитан наш.

– Капитан?.. Вы шутите, Нил Павлович... – произнес лекарь, протирая туманные глаза и опять хватаясь за стул, как будто чувствуя, что, полный винными парами, он может улететь вверх, будто аэростат.

– Нисколько не шучу, – отвечал лейтенант. – Я повторяю тебе, что это Илья Петрович Правин, достойный, командир нашего фрегата, – Правин, со всеми буквами...

– Гм! ге! Вот что... так ой-то болен любовью?.. С вашего позволения...

– Нет, вовсе без моего позволения. Уж эта мне черноглазая княгиня! Она словно околдовала Илью Петровича. И то сказать, хороша собой как царская яхта, вертлява как люггер[54] и, говорят, умна как бес... Ты, я думаю, помнишь ее, – ну, ту высокую даму в черном платье, с которою в красоте изо всех наших гостей могла поспорить только фрейлина Левич... Как находишь ты, доктор, которая лучше?

– Мадера лучше, – возразил доктор.

Погруженный в созерцание бутылок, он только и слышал два последние слова.

– Мадера гораздо лучше; ближе к цели.

– То есть ближе к постели. И дельно, брат; пора твоей посудине в док на зимовку. Однако я говорю не о винах, доктор, но о дамах!

– О дамах, или, попросту, о женщинах? Гм! Да разве это не все равно? Молодая женщина и молодца как раз состарит... а старое вино помолодит и старика, – где яд, там и противоядие; где боль, там и лекарство.

– Грот-марса-фалом[55] клянусь! оба эти зла или оба эти блага вместе приведут хоть какой ум к одному знаменателю. Уж если б выбрать меньшее зло, я бы скорее посоветовал капитану трепать почаще бутылочную, чем женскую шейку; и, по мне, пусть лучше зарится он на карточные очки, чем на очи красавицы. От вина поболит голова, от проигрыша заведется в кармане сквозной ветер, но от дам, кроме головы и кармана, зачихнет и сердце.

– Сердце! Сердце? А что оно такое, как не химическая горлянка[56], в которой совершается процесс кровообращения и окрашивания крови посредством вдыхаемого кислорода!.. Читали ли вы Гарвея[57]?.. знаете ли вы трактат доктора Крейсига[58] о болезнях сердца?

– И все-таки, я думаю, в книге этого доброго немца так же трудно найти лекарство против болезни пашего капитана, как шутку в Часослове[59]. Право, я бы очень желал, чтобы ты, наш любезный доктор, хоть крашеной водою и пластырями, магнетизированием и шарлатанством продержал его месяца два на фрегате... Разлука и диета – два смертельных врага любви. Авось бы он развлекся службою; авось бы наши споры возвратили ему прежнюю веселость; а то он сам не свой теперь. Бывало, его калачом не сманишь с фрегата; ему не спалось на земле, ему душно казалось в городе, – а теперь все бы ему жить на берегу, да кататься на колесах, да лощить бульвары. Подумаешь, право, что он поймал эту глупую страстишку, как жемчужину со дна моря, в день смотра, когда спрыгнул в воду спасать утопающего канонера.

За него нечего было ахать: он плавает, как ньюфаундлендская собака[60], – зато сам он растаял, когда увидел, что черноглазая княгиня, от участия к нему, в обмороке...

– Да, да, да, да!.. Теперь-то я припоминаю все дело. Я застал тогда капитана на коленях перед нею; он был мокр, как тюлень, а суетился, будто муха над дорожными. Подруга ее сама обеспамятела и, вместо того чтоб помогать, кричала только: «Воды, воды, кликните соль, принесите лекаря!..»

– Скажите пожалуйста, какая напраслина!.. Ты, кажется, тогда мог сам ходить!..

– У вас все шуточки, Нил Павлович! Ну, вот как я вошел, подруга ее приказывала капитану распустишь ее шнуровку!..

– Вот тебе и раз! – с ужасом вскричал лейтенант. – Распустишь шнуровку! Пускай бы спросили у Ильи Петровича, куда проходит и где крепится последний гитов[61] на каждом судне христианского и варварийского флота – он рассказал бы это, как «Отче наш», от коуша[62] до бензеля[63], а скоро ль было ему доискаться, где крепится дамский булень!..[64] Зато уж и попалась в силлок морская птичка!.. Видно, черт возьми, не всякое полушарив обойти безопасно, и хорошенькая дамочка бурливее мыса Горна[65]. С тех пор наш капитан рыскает, будто сам лукавый стоит у него на руле. Говоришь ему об укладке трюма, а он толкует о гирляндах. Просишь переменить якорь, а он переменяет жилет. Глядит в зрительную трубку, и ему кажется, что голландский гальот прогуливается по берегу в желтом платье. Налетит шквал, трещат стены, а он хохочет. Товарищи смеются, а он вздыхает. Мы пьем, а он смотрит в стакан, словно гадает на кофейной гуще, как тыушка Пелагея Фарафонтьевна.[66]

– Это мания, чистая мания!.. Это столь же верно, как и то, что гиппопотам пускает себе кровь тростником, боясь апоплексии, а собаки лечат себя от бешенства водяным шильником[67]... Это мания... ма-мания, говорю я вам...

– Зови как хочешь: от этого капитану не легче, нам не лучше. Да и, между нами будь сказано, к чему поведет такая глупая страсть? Она его не может любить: она замужем; а если и полюбит, тем хуже, – не должна. Есля дело остановится на первом, – он исчахнет, но если, чего боже сохрани, дойдет до второго, – он совсем потеряет себя: он ничего не умеет делать и чувствовать вполонину... Я ведь знаю его с гардемаринского галуна до штабского эполета; от лапты на дворе Морского корпуса до картечи ваваринского дела. О, как бы дорого дал я! – вскричал от глубины сердца лейтенант, проглотив разом стакан вина, будто им хотел он залить свое горе, – я отдал бы все свои призовые деньги, лишь бы увидеть моего доброго друга, Илью, в прежнем духе... Это душа в обществе, это голова в деле: добр как ангел и смел как черт!.. Я предвижу, что он настроит кучу проказ; он вовсе забудет службу, совсем покинет море... и что тогда станется с нашим лихим фрегатом, со всеми офицерами, с командою, что его так любит? Пусть лучше молния разобьет грот-мачту, пусть лучше сорвется руль с петель, пусть лучше потеряем мы весь рангоут[68], нежели своего капитана! С ним все это трын-трава, а без него команда не вывернет бегом якоря, не то чтобы на славу убрать в шторм паруса и перещеголять чистотою и быстротою англичан, как мы дельвали в прошлом году в Средиземном море. Per basso e signor diavolo![69] Я бы готов на полгода отказаться от вина и елея, лишь бы вылечить Илью... хоть, признаться сказать, я считаю это так же трудным, как проглотить собаку-блок[70] после ужина!..

Стеллинский в свою очередь говорил, не слушая лейтенанта, о медицине. Вино выказало страсти обоих – как обозначает оно в хрустале незаметные дотолы украшения.

– Должно начать леченье прохлаждающими средствами, – говорил он, зевая, – кремор-тартар... маг-мадера... потом пиявки, потом можно последовать совету славного римского врача Анахорета, который резал руки и ноги, чтоб избавить от бородавок, и сделать ам-пу-та-цию да тереть против сердца чем-нибудь спирту-о-зным!..

Сын Эскулапа был поражен Морфеем в начале речи – участь, грозившая слушателям, если б они были тут. Голова его упала на грудь, руки повисли, и он начал материально доказывать, что, согласно с мнением нашего знаменитого корнеискателя[71], русский глагол спать происходит от слова сопеть.

Но прежде чем лейтенант кончил говорить, а лекарь начал храпеть, дверь каюты распахнулась с треском: в нее вбежал вахтенный мичман, бледен, испуган.

– Нил Павлыч, – сказал он, задыхаясь, – нас дрейфует.[72]

– Людей наверх, пошел все наверх! – крикнул лейтенант таким голосом, что он мог бы разбудить мертвых.

С этим словом он кинулся на шканцы без шапки и без шинели, – там уже заменявший его лейтенант хлопотал, как помочь горю. Окинув опытным взором море и небо, Нил Павлович увидел, что с погодю шутить нечего. Крутые, частые валы с яростью катились друг за другом, напирая на грудь фрегата, и он бился под ними как в лихорадке. Сила ветра не позволяла валам подыматься высоко, – он гнал их, рыл их, рвал их и со всего раската бил ими как тараном. Черно было небо, но когда молнии бичевали мрак, видно было, как ниже, и ниже, и ниже катились тучи, будто готовясь задавить море. Каждый взрыв молнии разверзал на миг в небе и в хляби огненную пасть, и, казалось, пламенные змеи пробежали по пенистым гребням валов. Потом чернее прежнего зияла тьма, еще сильнее хлестал ураган в обнаженные мачты, крутя и вырывая верви, свистя между блоками.

– Пошел на брасы, на топенанты[73]; ходом, бегом! Надо обрасопить[74] реи вдоль судна. Задержал ли якорь? Есть[75], Слава богу! Г. шкипер! разнесен ли канат плехта?[76] Может, надо лечь фертоинг[77]. Сдвоить стопора на даглисте[78]... очистить бухты![79] Послать топор к правой кран-балке[80]; если крикну: «Отдай!» – разом пертулин[81] пополам. Г. мичман! вы эполетами отвечаете, если рустов[82] отдадут рано... не забудьте участи «Фалька»[83]. Драй, драй, бакштаги в струну вытягивай! Ну, молодцы, шевелись, поплясывай! Не то я вас завтра в ворсу истреплю! Гей вы, на марсах! все ли исправно у вас? Ага! стеньги хрустят? Эка невидаль! Треснут – так на зубочистки годятся! Боцмана! осмотреть кранцы:[84] чтоб ни одно ядро не тронулось, – теперь некогда играть в кегли. Крепко ли задраены порты? [85] Г. штурман, много ли фут по лоту? Сто двадцать... лихо!.. Гуляй, душа! Далеко еще килю до рачьей зимовки!

Так или почти так покрикивал Нил Павлович, прибавляя к этому, как водится, сотни побранок, которые Николай Иванович Греч[86] сравнил с пеною шампанского. Он, казалось, попал в родную стихию: осматривал все своим глазом, успевал сам везде, и матросы, ободренные его хладнокровием, работали смело, охотно, но безмолвно, при тусклом свете фонарей. Порой, когда над головами их раздражался перуи, подвижные купы их озарялись ярко и живописно – будто сейчас из-под мрачной кисти Сальватора, и только мерный стук их бега, только пронзительный голос свистков мешался с завыванием бури и с тяжелым скрипом фрегата.

– Ай да ребята, спасибо! – сказал Нил Павлович, потирая от удовольствия руки. – За капитаном по чарке! Теперь дуй – не страшно, мы готовы встретить самый задорный шквал, откуда б он к нам ни пожаловал. Хорошо, что я не послушал вас, – продолжал он, обращаясь к подвахтенному лейтенанту, – и спустил заране брам-стеньги:[87] их бы срезало, как спаржу. Я, правда, с вечера предвидел бурю: солнце на закате было красно, как лицо английского пивовара, и синие редкие тучки, будто шпионы, выглядывали из-за горизонта; признаюсь, однако, не ждал я никак такого шторма: все ветры и все черти спущены, кажется, теперь со своры... того и гляди, что сорвет с якоря и выкинет на финский берег по клюкву.

– Шлюпка идет! – раздалось с баку.

– Скажи лучше, тонет, – вскричал с беспокойством Нил Павлович. – Кому это вздумалось искать верной гибели? Опрашивай!

– Кто гребет?

– Матрос.

– С какого корабля?.. Есть ли офицер?

Шум бури и волнения мешал расслушать ответы...

– Кажется, отвечают: «Надежда», – закричали на баке.[88]

– Ослы! – загремел Нил Павлович, который в эти время вскочил на фор-ванты[89], чтобы лучше рассмотреть шлюпку. – Разве не видите вы двух фонарей на водорезе?[90] Это наш капитан. Изготовить концы, послать фалрепных[91] с фонарями к правой!

Долгая молния рассекла ночь и оказала гонимую бурей шлюпку, с изломанной мачтой, с изорванным парусом. Огромный вал нес ее на хребте прямо к борту, грозя разбить в щепы о пушки, – и вдруг он опал с ревом, и мрак поглотил все.

– Кидай концы! – кричал Нил Павлович, вися над пучиной. – Промых! Другой! Сорвался... Еще, еще!

Новая молния растворила небо, и на миг видно стало, как отчаянные гребцы цеплялись крючьями и скользили вдоль по борту фрегата.

– Лови, лови! – раздавалось сверху, и многие верейки летели вдруг; но вихрь подхватывал их и они падали мимо.

– Боже мой! – вскричал Нил Павлович, сплеснув руками, – они погибли...

Но они не погибли; их не унесло в открытое море. Одни багор удачно вцепился в руль-тали [92], и по штормтрапу с горем пополам взобрались наши пловцы, чуть не утопленники, на ют (корму). Пустую шлюпку мигом опрокинуло вверх дном, и через четверть часа на бакштове[93] остался лишь один обломок шлюпочного форштевня.[94]

– Ты жив, ты спасен, друг мой, брат мой картечный! – говорил добрый Нил Павлович, задушая в объятиях капитана. – Как не грех тебе пускаться в такую бурю! Сорвись последний крюк – и ты бы отправился делать депутатский осмотр карасям.

Но вдруг он вспомнил долг подчиненности – отступил на два шага и преважно начал рапортовать о состоянии судна и команды. В этой сцене было много забавного и почтенного вместе. Глядя тогда на Нила Павловича, вы бы сказали: «Он прекрасный человек, он достойный солдат!» Вы бы поручились за него, что он не изменит ни одному благородному чувству, как не преступит ни одной причуды службы.

– Благодарю сердечно, благодарю всех господ за исправность, – говорил капитан окружившим его офицерам, – а вас, Нил Павлович, особенно. За вами я бы мог спать спокойно, если б вы могли повелевать так же удачно стихиями, как вахтой. Но я предвидел ужасную бурю и хотел разделить с вами опасность. Могу вам рассказать новости о погоде, потому что я был там, куда не достанут ночью ваши взоры. Шквал налетит сию минуту. Готов ли другой якорь?

– Готов.

– Тем лучше. На баке ало! – закричал капитан в рупор. – Из бухты вон[95]! Отдай якорь!

Как ни силен был плеск волн и рев бури, но послышалось, когда бухнул в воду тяжкий якорь и с глухим громом покатился канат из клюза.

– Шквал с ветра, шквал идет! – раздалось на баке. Случалось ли вам испытывать сильный шквал, на море?

Перед ним на минуту воцаряется какая-то грозная тишь, море кипит, волны мечутся, жмутся, толкутся, будто со страху; водяная метель с визгом летит над водою, – это раздробленные верхушки валов; и вот вдали, под мутным мраком, изорванным молниями, белой стеною катится вал... ближе, близко – ударил! Нет слов, нет звуков, чтоб выразить гуденье, и вой, и шорох, и свист урагана, встретившего препону; кажется, весь ад пирует и хохочет с какою-то сатанинскою злобою!.. Такой-то шквал налетел на фрегат «Надежду» и зарыл нос его в бурун, так что волна перекатилась по палубе до самой кормы.

Удар водяной массы и порыв ветра были так жестоки, что стопора[96] первого якоря лопнули, прежде чем канат второго вытянулся. Фрегат задрожал, как лист, и вдруг с невероятною быстротою кинулся по ветру. Второй канат, едва полустопоренный, не мог сдержать корабля с разбегу, и оба вдруг пошли сучить в оба клюза.

Не каждому моряку во всю свою службу случалось видеть суматоху от высучки канатов. Это страшно и смешно вместе! Вообразите себе два каната чуть не в охват толщиной, которые с ревом и громом бегут с кубрика или из дека, где были уложены, вверх... Они вьются, как удавы, огромными кольцами, хлещут, как волны, взбрасывая на воздух все встречное – сундуки, койки, ядра, людей; и наконец, крутятся узлом через толстый брус битенга[97], зажигают его трением. Это пеньковый тифон, от которого все летит вдребезги или бежит с воплем. Напрасно кидают в клюз койки и вымбовки[98], чтобы сдавило и заело канат, – он бежит вон неудержимо.

К счастью, на фрегате оба каната закреплены были огоном за шпор[99] грот-мачты. Удары от внезапной задержки с разбегу заставили вздрогнуть весь остов, и едва-едва уцелели стены. Якоря забрали, фрегат стал в тот миг, когда капитан, не надеясь на канаты, послал по марсам, готовясь на обрыве вступить под паруса, чтобы жестокий норд-норд-ост не выкинул его на отмели и рифы негостеприимного берега Финляндии. Осмотрелись: люди были целы, изъян ничтожен. Волнение ходило горами, дождь лился потоком, и к довершению этой ужасно-прекрасной картины невдалеке показались смерчи, или тромбы. Они очень заметны были во мраке, вздымаясь, белые, из валов, как дух бурь, описанный Камознсом[100]... Голова их касалась туч, ребра увивались непрерывными молниями... Море с глухим гулом кипело и дымилось котлом около, – они вились, вытягивались и распадались с громом, осыпая валы фосфорическими огнями. Матросы с благоговейным ужасом глядели на это редкое для них явление.

– Не прикажете ли, капитан, попотчевать этих не~ вванных гостей ядрами? – спросил Нил Павлович.

– Прикажете только изготовить два плутонга пушек на оба борта, и стрелять тогда разве, когда какой-нибудь любопытный тифон вздумает пощупать нас за утлегарь. Мне не хочется делать тревоги в Кронштадте. Пожалуй, там подумают, что мы перепугались, что наша «Надежда» гибнет. – Так отвечал капитан Правин.

Миновалась опасность, но не буря. Ветер дул ровнее, но все еще жестоко, и фрегат, бросаемый волнением, то носом, то кормой ударялся в воду, разбрызгивая буруны в пену, но содрогаясь, но стеноя и скрипя от каждого взмаха. Половину команды распустили по койкам; другая смирно жалась у стенок. Нил Павлович с рупором под мышкою ходил по шканцам, заботливо взглядывая то на море, то на капитана, – а капитан, безмолвен, стоял, опершись о колесо штурвала. Свет лампы из нактоуза[101] падал прямо на его бледное, но

выразительное лицо. Взоры его следили вереницы летящих туч и бразды молний, их рассекающих... Он не чувствовал ни ветра, ни дождя; он долго не слышал голоса друга, – душа его носилась далеко-далеко.

Наконец Нил Павлович дернул его за рукав.

– О чем замечтался ты, Илья? – спросил он с братским участием.

Правин будто проснулся.

– О чем? Как легко это спросить, зато как трудно отвечать на это! Вихорь мыслей крутился в голове, и целый водоворот мыкал мое сердце. Если б я и умел тебе высказать все это, я бы не досказал всего до седых волос. Впрочем, нет действия без причины, и если я не смогу рассказать, о чем мечтал, то не умолчу, отчего эти мечты меня обуяли. Загадка, для чего нас от всей эскадры оставили одних на кронштадтском рейде, объяснилась: наш фрегат назначен в Средиземное море; мы повезем важные бумаги союзным адмиралам и президенту Греции.

– И, верно, ядра да картечи для закуски туркам! Грот-марса-рея меня убей, мне смерть хочется сцепиться на бордаж с каким-нибудь капитан-пашинским кораблем!

– Но я, милый Нил, я краснею за себя!.. Душа моя рвется надвое: одна половина хочет пустить корни в столице, между тем как другая жаждет раздолья и битвы. Итак, думал я, чем скорее, тем лучше... сегодня же, сейчас хотел бы я вырваться из оков своих... я с радостью ждал минуты, когда нас сорвет с якорей, чтобы распусть крылья и улететь из этого чада, растлевающего душу.

– Недолга песня командовать на марса-фалы! Не вступать под паруса в такую темную ночь, в такую бурю!..

– В бурю? – повторил рассеянно капитан, – в такую бурю! Что значит эта буря против бунтующей в моей груди?..

Нил Павлович долго и пристально глядел в лицо друга, – наконец крепко сжал ему руку и произнес:

– Бедный Илья!

Бедный Правин! – повторю и я.

Капитан-лейтенант Правин к лейтенанту Нилу Павловичу Накорину

Что бы ты сказал, что бы подумал ты, добрый друг мой, если б увидел мои вчерашние сборы на вечер к княгине**? Я, я, которому, так же как и тебе, до сих пор все платье шилось парусником, я затянулся в мундир, шитый самым лучшим, то есть самым дорогим портным столицы, да и тот не угодил на меня. То, казалось мне, не выровнены пуговицы, то проглядывают кой-где преступные складки... там это, здесь не то... словом, я бы на вечер приехал на завтрашнее утро, если б бой часов не заставил меня поторопиться. Волосы мои натированы[102] были помадою, белье пробрызгано духами; галстух не галстух, перчатки не перчатки, – верчусь перед зеркалом, молодец хоть куда. Повторив несколько раз все эволюции салюта и ордер марша по гостиной, и потом ордер баталии: «спуститься по ветру, чтобы прорезать линию неприятельских стульев, потом лечь в дрейф и начать перестрелку» – плащ на плечо, наемная карета у крыльца, качу.

Крепко забилося мое ретивое, когда Каменноостровский мост задрожал под колесами моей кареты. И вот дача князя! В окнах сияет день, сквозь цветы мелькают тени, народу тьма, – храбрость моя роняет брамсели. Однако ж, снайтовя[103] сердце, перехожу аванзалу так осторожно, будто сквозь каменистый вход в порт Свеаборга[104]. Имя мое из уст официанта раздаётся словно боевая пушка, – во мне занялся дух, и на глаза упал туман, хоть подымай сигнал: неясно вижу!.. Но экватор был уже перейден – ворочаться поздно; вхожу, кланяюсь без прицела, краснею будто каленое ядро, верчусь направо и налево не лучше рыскливого корабля – одним словом, чувствую сам, что я так же ловок, как выброшенный на берег кит, и мешаюсь вдвое пуще. Мужские лорнеты, казалось, сожигали меня в пепел; дамские взгляды пронизывали наперекрест, будто Конгревовы ракеты[105]; даже ковры егозили под ногами, и проклятые зеркала, это оптическое эхо, передразнивали в двадцати видах мое замешательство. О! если б знала княгиня, как дорого стоило моему самолюбию быть на такой выставке, она бы пожалела, она бы наградила меня! Вещь, которая для всякого светского повесы была бы или незначаша или приятна, во мне обращалась в истинное самоотвержение... Приехав в надежде понравиться княгине, я уже трепетал за то, что не понравлюсь... Стень ложного стыда удушала меня. К счастью, эта сцена была непродолжительна. Толстяк хозяин поспешал ко мне на выручку, и сама хозяйка, привстав с дивана, так ободрительно меня поприветствовала, что душа моя распрямилась вдруг... Я гордо поднял голову, я окинул всех светлым оком: что значила для меня невзгода всех пустоцветов и пустозвонов гостиной, когда я был уже обласкан тою, чья единственно ласка была дорога мне! Гости поняли эту мысль, и ропот затих, и все улыбнулись мне, будто по приказу. Общественное мнение всегда склоняется к тому, кто не дорожит им нисколько.

Меня усадили в полукруге между каким-то кавалером посольства, который глядел на весь мир с вышины своей накрахмаленной косынки, и незнакомым офицером, от которого еще благоухало браиловскою гюлябсу[106]. Первый надувал остроумием мыльные пузыри, другой заклинался гуриями не хуже любого ренегата, прочие гости занимались умножением нуля, то есть переливали из пустого в порожнее. Самый важный спор шел о лучшем средстве чистить зубы после обеда. После неизбежных переспросов я притаился в креслах и дал полный разгул глазам и мечтам своим. Ты, не добиваясь патента на пророчество, угадаешь, к какому полюсу влекся компас мой, – это была она – истинный полюс, охваченный полярным кругом светской холодной суеты. И что такое были все эти собеседники, как не льдины: блестящие, но безжизненные, носимые ветром моды вместо своей воли и порой зеленеющие чахлыми порослями, какие видел Парри в Баффиновом заливе[107]; и этр-то называют они цветами общества!

Но возвратимся к ней, еще к ней, опять к ней! Я пил долгими глотками сладкий яд ее взоров, – мне было так хорошо! Она шутила – я отвечал тем же... Откуда что бралось! Недаром говорят, что любовь и сводит с ума и дает ум. Когда я говорил с нею, застенчивость покидала меня; зато едва другая дама обращала ко мне слово, я краснел, я бледнел, я вертелся на стуле, будто он набит был иголками, и бедная шляпа моя чуть не пищала в руках. Ты знаешь, что я могу лепетать по-французски не хуже дымчатого попугая; но знаешь и то, что, из упрямства ли или от народной гордости, не люблю менять родного языка на чужеземный. Вот, сударь, волей и неволей господя, удостоивавшие меня своим разговором, слыша твердо произнесенный отзыв: «Я не говорю по-французски», принуждены были изъясняться со мною по-русски, и признаюсь, я не раз жалел, что не взял с собою переводчика. Охотнее всех и, к удивлению моему, чище всех говорила по-русски княгиня, – это делает честь Москве, это приводило меня в восхищение. Рад ты или не рад, а меня берет искушенья послать к тебе кусочек нашего разговора, хоть я очень знаю, что разговор, как вафли, хорош только прямо с огня и в летучей пене шампанского.

Мы спорили. Княгиня верить не хотела постоянству чувствований моряков. Она называла нас кочевым народом, людьми, которые ищут двух весн в один год и гоняются за открытиями, чтобы оставить на них чугунную дощечку с надписью: тогда-то здесь был такой-то. Но разве

быть значит жить? Или видеть значит чувствовать? Частые перемены мест не дают окрепнуть привязанностям до страсти, воспоминанию – до глубокого сожаления.

– Даже вы сами, – продолжала она, – вы – скиталец с ранних лет по далеким морям – признайтесь: надышавшись воздухом ароматных лесов Бразилии; набродившись по чудным коралловым островам Тихого океана или по исполинским дебрям Австралии; налюбовавшись плавучими ледяными горами Южного полюса, или волканами, раскаляющими небо своим дыханием, скажите, какова показалась вам после того болотная, плоская, туманная родина?

– Прелестнее, чем прежде, княгиня! Вы меня считаете в ощущениях ветренее всякой дамы, которая, сбросив с себя украшение, назавтра забывает или, нашедши, презирает его. Чувства нельзя забыть, как моду, и прекрасный климат не замена отечеству. Эти туманы были моими пеленами, эти дожди вспоили меня, этот репейник был игрушкой моего детства. Я вырос, я дышал воздухом, в котором плавали частицы моих предков, я поглощал их в растениях. Русская земля во мне обратилась в тело и в кости. О! поверьте мне, отечество не местная привычка, не пустое слово, не отвлеченная мысль; оно живая часть нас самих; мы нераздельная мыслящая часть его, мы принадлежим ему нравственно и вещественно. И как хотите вы, чтобы в разлуке с ним мы не грустили, не тосковали? Нет, княгиня, нет! в русском сердце слишком много железа, чтобы не любить севера!

– И в вашем тоже, капитан? – спросила княгиня.

– Я русский, княгиня: я суровый славянин[108], как говорит Пушкин.

– Тем на этот раз хуже: я ненавижу чугунные сердца, – на них невозможно сделать никакого впечатления!

– Почему же нет, княгиня! Разгорячите этот металл, и он будет очень мягок, и потом рука времени не сотрет того, что вы на нем изобразите.

– Но для изображения чего-нибудь надо ковать молотом, а это вовсе не дамское дело.

– Терпение, княгиня, дает уменье.

– Но всякий ли, капитан, может командовать терпением, как вы «Надеждою»? Да, кстати о «Надежде», – все ли в добром она здоровье?

– Напротив, княгиня, бури ее одолели с тех пор, как вы ее оставили.

– Надеюсь по крайней мере, – продолжала княгиня, все еще играя словами о имени моего фрегата, – надеюсь, она вас не покинула!

– Все равно почти: я очень далек от нее!

– Но, как верный рыцарь, не покидаете зато ее символа: на воротнике вашем таинственно блестят два якоря.

– Заметьте, княгиня, – примолвил я со вздохом, – они с оборванными канатами.

В это время офицер, сосед мой, наклонившись сзади меня к дипломату, сказал ему вполголоса:

– Il se pique d'esprit, ce lion marin.[109]

– Oui-da, – отвечал тот. – Il s'en pique![110]

– Et cette fois il n'est pas si bete qu'il en a l'air[111], – примолвил первый, презрительно

покачиваясь на стуле.

Я вспыхнул. Такое неслыханное забвение приличий обратило вверх дном во мне мозг и сердце; я бросил пожигающий взор на наглеца, я наклонился к нему и так же вполголоса произнес:

– Si bon vous semble, mr., nous ferons notre assaut d'esprit demain a 10 heures passees. Libre a vous de choisir telle langue qu'il vous plaira – celles de fer et de plomb y comprises. Vous me saurez gre, j'espere, de m'entendre vous dire en cinq langues europeennes, que vous etes un lache?[112]

Не можешь представить себе, как смутился мой обидчик: он покраснел краснее своих отворотов, он окинул глазами собрание, как будто искал в нем подпоры или обороны, – но все отворотились прочь, будто ничего не слышали. Наглец и тут хотел отделаться хвастовством.

– Очень охотно! – отвечал он, играя цепочкою часов. – Только я предупреждаю вас: я бью на лету ласточку.

Я возразил ему, что не могу хвастаться таким же удальством, но, вероятно, не промахнусь по сидячей вороне.

Противнику моему пришлось плохо, но мне было едва ль не хуже его. Гнев пробежал меня дрожью; я кусал губы чуть не до крови, я бледнел как железо, раскаленное добела. Невнятные слова вырывались из моих уст, подобно клочьям паруса, изорванного бурей... Присутствие людей, в глазах которых я был унижен и еще не отомщен, меня душило... наконец я осмелился поднять глаза на княгиню... Говорю: осмелился, потому что я боялся встретить в них сожаление, горчайшее самой злой насмешки... И я встретил в них участие, сострастие даже. Взоры ее пролились на мою душу как масло, утишающее валы... в них, как в зеркале, отражались и гнев за мою обиду и страх за мою жизнь... они так лестно, так отраднo укоряли и умоляли Меня!.. Я стих. Общество занялось прежним, будто не замечая нашего a parte;[113] разговор катился из рук в руки. Я чувствовал себя лишним, встал, раскланялся и вышел, но уже без замешательства, без оглядок: обиженная гордость придала мне самонадеяния.

– Мы надеемся видеть вас почаще, – молвил хозяин, прощаясь со мною.

Ступая за дверь, я обернулся... О друг мой, друг мой! я худо знаю женскую сигнальную книгу, но за взор, брошенный на меня княгинею, я бы готов был вынести тысячу обид и тысячу смертей!.. Завтра со своими пулями и страхами для меня исчезло... Всю ночь мне виделась только княгиня. Меня волновал только прощальный взгляд ее.

Петергоф, 17 июля 1829.

От того же к тому же

(День послед)

В Кронштадт.

Брось в огонь историю кораблекрушений, любезный Нил: мое сухопутное крушение куриознее всех их вместе, говорю я тебе. Воображаю, с каким изумлением протирал ты глаза, читая

последнее письмо мое. Илья влюблен, Илья щеголь, Илья в гостиной, Илья накануне поединка!! По-твоему, все это для моряка столько же несбыточно, как прогулка Игорева флота на колесах, – и между тем все это гораздо более историческое, чем романы Вальтер Скотта. Счастливец ты, Нилушка, что не знаешь, не ведаешь, куда забросить может сердце вал страсти. Я стыжусь других, браню себя – и все-таки влекусь от одной глупости к другой. Беднягу ум укачало на этом волнении, и он лежит да молчит и, во все глаза глядя, ни зги не видит.

Впрочем, что ни толкуй, а от прошлого не отлавируешься. Дело было сделано: поединку решено быть; недоставало только тебя в секунданты... Благодаря, однако ж, принятому поверью в Петербурге через край охотников в свидетели суда божия, как говорили в старину – удовлетворения дворянской чести, как говорят ныне – с одинаковою основательности («). В десять часов утра мы съехались, раскланялись друг другу с возможною любезностью, и между тем как секунданты отошли в сторону торговаться о шагах и осечках, противник мой, видно по пословице: «утро вечера мудренее», подошел ко мне ласковый, тише воды, ниже травы.

– Мне кажется, капитан, – сказал он мне, – нам бы не из-за чего ссориться.

– Без всякого сомненья, нам не из-за чего ссориться, но драться есть повод, и весьма достаточный: я обижен вами как человек, как русский и как офицер; пули решат наше дело, – отвечал я.

– Но как решат, капитан? Убитый будет всегда виноват, а убитым можете быть и вы.

– Что ж делать, м. г.? Я ль виноват, что в вашем свете право заключено в удаче? У бьют – так убьют! Меня повезут тихомолком на кладбище, а вы поедете в театр рассказывать в междудействии о своем удалстве.

– Вы говорите об этом по преданию, капитан. Нынешний государь не терпит дуэлей; и если кто-нибудь из нас положит другого, ему отведут келью немного разве поболее той, в которую опустят покойника. Подумайте об этом, капитан!

– М. г.! обидчик вы, а не я; ваше дело было подумать о следствиях прежде, чем так дерзко шутить насчет другого!

– Но я вовсе не полагал, что вы знаете по-французски: вы сами сказали, что не говорите на этом языке.

– Значит, вы, м. г., плохо знаете русский язык, когда слово не говорю принимается за не понимаю!

– О! что касается до русского языка – я предаю вам его целиком! Мне вовсе неохота ломать копые за мадам грамматику; а так как я вижу, что вы благоразумный и достойный человек, капитан, то за удовольствие сочту кончить все по-приятельски.

– Благодарю за приязнь, м. г.; я не имею привычки дружить под влиянием пуль или пробок! Мы будем стреляться!

– Если за этим только стоит дело, – мы будем стреляться; но как философы, как люди повыше предрассудков – так, чтобы и волки были сыты и бараны целы. Послушайте меня, – примолвил он тихо, отводя меня в сторону, – я знаю, что я не совсем прав; но разве и вы не виноваты?.. Вы можете принять, что я говорил о вас заочно, а заочно и про царей говорят!.. Я с своей стороны будто не слышал чего-то резкого, вами в лицо мне сказанного. Сделаемтесь же как многие сделываются. Выстрелим друг в друга, но так, в сторону, мимо, понимаете? Об этом никто не будет знать: можно надуть даже самих секундантов. После выстрела я попрошу

у вас извинения – и дело в шляпе, и шляпы на головах. После все станут кричать: вот истинно храбрые, благородные люди; один умел сознаться в своей ошибке, а другой остановиться в пору. Конечно, я мог бы попросить извинения и раньше; но извиняться перед дулом пистолета – это как-то нейдет, не водится; пожалуй, иной злословник скажет, будто я струсил, – а я дорого ценю свою честь!.. Итак, по рукам, любезный капитан!

Не можешь себе вообразить, какое глубокое презрение почувствовал я, видя столь бесстыдное хвастовство, прикрывающее столь расчетливое унижение; и в ком же? В человеке, который по привычке, если не по духу, должен быть храбрым или по крайней мере для мундира, если не для лица, храбрым казаться! Не могу верить, говорил маркиз Граммон [114], чтобы бог любил глупых. Не хочу верить, говорю я, чтобы женщина могла любить, а мужчина уважать труса. Я так взглянул на него, что он потупил глаза и покраснел до ушей. Не сказав ни слова, указал я ему на секундантов: они приближались с готовыми пистолетами; мы сбросили плащи и стали на тридцать шагов друг от друга, каждому оставалось пройти по двенадцати до среднего барьера. Марш.

У меня секундантом был один гвардеец, премилый малый и прелихой рубака... В дуэлях классик и педант [115], он проводил в Елисейские поля и в клинику не одного, как друг и недруг. Он дал мне добрые советы, и я воспользовался ими как нельзя лучше. Я пошел быстрыми, широкими шагами навстречу, не подняв даже пистолета; я стал на место, а противник мой был еще в полудороге. Все выгоды перешли тогда на мою сторону: я преспокойно целил в него, а он должен был стрелять на ходу. Он понял это и смутился: на лице его написано было, что дуло моего пистолета показалось ему шире кремлевской пушки, что оно готово проглотить его целиком. Со всем тем стрелок по ласточкам хотел предупредить меня, заторопился, спустил курок – пуля свистнула – и мимо. Надо было видеть тогда лицо моего героя. Оно вытянулось до пятой пуговицы.

– Прошу на барьер! – сказал я ему; он не слышал, он стоял как алебастровый истукан. Наконец секунданты подвели его к барьеру; и так силен предрассудок над духом, не только умом слабых людей, что он выискал в стыде замену храбрости и принудил себя улыбнуться в тот миг, когда бы со слезами готов был спрятаться в кротовую норку, придавленную его пятою. Секундант с дипломатическою точностию поставил его боком, с пистолетом, поднятым отвесно против глаза, для того, говорил он, чтобы по возможности закрыть рукою бок, а оружием голову, хоть прятаться от пули под ложу пистолета, по мне, одно, что от дождя под бороной. Это плохое утешение для человека, по котором целят на пяти шагах, и как ни вытягивался противник мой, чтоб наименее представить площади пуле, но если б он превратился даже в астрономический меридиан, все еще оставалось довольно места, чтобы отправить его верхом на пуле в безызвестную экспедицию. Я два раза подымал пистолет и два раза опускал его поправить кремь, наслаждаясь между тем страхом хвастуна; наконец мне стало жаль его, или, прямее сказать, он стал мне так презрителен, что я подумал: «Для таких ли душ изобретал порох Бертольд Шварц [116], а Лепаж [117] тратил свое искусство?» – отворотился и выпалил на воздух. Противник мой чуть не запрыгал от радости и схватил бы меня за руку, если б я не спрятал ее в карман.

– Господа! – сказал он, обращаясь к секундантам, – теперь, выдержав выстрел (ему следовало сказать: «выслушав выстрел»), я долгом считаю просить у моего противника извинения... то есть прощения, – примолвил он, заметив, что мой секундант принялся снова заряжать пистолеты. – Я был, точно, виноват перед ним, – довольны ли вы этим? Что ж до меня касается, то отныне я стану говорить всем и каждому, что г. Правин самый храбрый и благородный офицер.

– Жалею, что не могу отплатить вам тем же, – сказал я своему противнику. – Господа! благодарю вас... Прощайте!

– Лихо! – сказал мой секундант, влезая за мной в карету. Она помчалась в город.

С. – Петербург

От того же к тому же

(Два дня спустя),

В Кронштадт.

Перевяжи узлом мой брейд-вымпел[118], любезный друг, опусти – его в полстеньги, вели петь за упокой моего рассудка, – приказал он долго жить! Его стоит выкинуть теперь за борт, как пустую бутылку. Да и какая бы голова устояла против электрической батареи княгини Веры? До сих пор мне казалось, что привязанность моя к ней – одна шалость; теперь я чувствую, что в ней судьба моей жизни, в ней сама жизнь моя. Сначала в воображении моем любовные узы путались со снастями; еще фрегат наш заслонял порой милый образ своими лиселями[119] и бурное море оспаривало владычество у любви; теперь же все соединилось, слилось, исчезло в княгине; не могу ничем заняться, ничего вообразить, кроме ее: все мои мечты, все страсти мои скипелись в три магические буквы: она. Это весь мой мир, вся моя история. Но что я рассказываю, но кому говорю я! Может ли бесстрастный человек постичь меня, когда я сам себя не понимаю! Можешь ли ты, со своим медным секстаном, со своими вычислениями бесконечно малых, охватить это новое, лишь сердцу доступное небо, определить быстроту и путь этой реющей ио нем кометы! По крайней мере ты можешь пожалеть меня, своего друга, – меня, который не завидует ничему в обеих жизнях: ни венку гения на земле, ни крыльям серафимов в небе, ничему, кроме взаимности Веры. О! если б ты видел теперь мое сердце и если б ты был способен к поэзии, ты бы сравнил его с Мельтоновым Эмпиреем[120], оглашенным битвою ангелов с демонами!.. Оно – да нет у меня слов выразить, что такое переполняет, волнует, – взрывает его!! Может ли сказать какой-нибудь путешественник-денди, скрипя табакеркою, выточенную из лавы: «Я знаю, что такое лава!» Вот мое письмо – вот мое сердце. Не станем же переводить высокое на смешное, не станем точить игрушки из молнии. Ио могу ли не говорить о ней, когда о ней одной могу я думать! Очень знаю, что мое болтанье для тебя несноснее штиля, скучнее расходной тетради офицерского стола, где все страницы испещрены рифмами: водки – селедки, шпеку свиного – уксусу ренекоеого и тому подобными, – но если ты не хочешь, чтобы друг твой задохнулся от сердечного угара, то читай волей и неволею, что я неволею пишу.

В самый день моего глупого поединка я поскакал к княгине, несмотря ни на какие приличия. Мне хотелось показать ей, что я жив, что я не трус, ибо мысль показаться трусом в глазах всякой женщины была бы для меня нестерпима, а в ее глазах вовсе убийственна. Колокольчик прозвенел.

– Княгиня в саду, княгиня изволит прогуливаться.

– С кем?

– Одна-с!

Бросаюсь туда опрометью; сердце бьет рынду;[121] замечаю ее на траверзе[122] и прямо прыгаю к ней наперерез, через цветник; встречаюсь, – и что ж? Останавливаюсь перед ней без слов, без дыхания... В глазах у меня кружилась огненная метель, а язык будто растаял. Бездельная опасность протекла между нами, как долгие лета разлуки, и уже сколькими чувствами надо было поделиться, сколько променять рассказов! Я был так рад и так смущен,

что забыл скинуть шляпу. Хорош был я, нечего сказать; зато и она была не лучше. Румянец пропадал и выступал на белизне ее щек попеременно; она протянула навстречу ко мне руки, она готова была вскрикнуть от изумления, заплакать от радости – да, да, от радости! Это не была мечта самолюбия. Сладостна, неизъяснимо сладостна была для меня эта немая сцена; отрадно это лицо, горящее ко мне участием, – и все исчезло вмиг, подобно туману, который принимаешь иногда за берег: дунет ветер и спадет обетованную землю!

Княгиня оправилась; никакого выражения, кроме обыкновенного участия, не осталось на ее лице. Боже мой, что за хамелеон светская женщина!

– Как я рада вас видеть здоровым и невредимым, капитан, – сказала она мне. – Скажите скорей, как вы кончили вашу ссору с NN? Где он? что с ним случилось?

– Я оставил его на месте, – был ответ мой: я был уколот ее участием к моему противнику.

– Бог мой! вы убили его! – вскричала княгиня.

– Успокойтесь, княгиня, он будет долголетен на земле. Я оставил его здоровее, чем прежде поединка.

– Но зато сами стали менее прежнего добры: вы испугали меня. Сколько раскаяния дали бы вы самому себе, сколько слез родным, если б его убили. Поверите ли, что я вчуже не спала целую ночь: мне все представлялись кровавые сцены поединка и страшные следствия его для вас.

– Ценою вашего сожаления, княгиня, готов бы я купить самое злейшее несчастье и, что еще более, не роптать на него. Но не только участие – ваше мнение ценю я так высоко, что поспешил сюда нарочно: рассказать, как было у нас дело. Я уже довольно знаю свет и уверился, что он злобно осуждает дерзающих вступить в заветный круг его, – я хочу предупредить толки злоречия. Пусть другие говорят обо мне что угодно, лишь бы вы, княгиня, лишь бы вы одни худо обо мне не думали.

Я рассказал ей дуэль нашу. Я кончил... Она молчала... В глазах ее, обращенных к небу, блистали две слезы, лицо горело умилением; какое-то нектарное пламя протекло, облило мое сердце... Я сам готов был плакать, бог знает отчего; я жаждал упасть к ногам ее, распасться в прах у милых ног; я не дерзал и думать целовать их; мне довольно было бы прильнуть устами к следу ее стопы, к краю ее платья, – и я не смел того! Я был уже слишком счастлив ее присутствием, слишком несчастлив моими желаниями, я был просто безумен, друг мой! Но за этот припадок сумасшествия я бы отдал всю мудрость веков и все собственное благоразумие! К нам приближались. Княгиня встала, закрыла на миг рукою глаза и потом, краснея, приподняла их.

– Вы не будете вперед играть так своею жизнью, – сказала она, – я требую этого, обещайте мне это.

– Вы заставите меня любить жизнь, – отвечал я, – вы... – я не сумел сказать ничего лучше; я не смел сказать ничего более. «То-то простак! – скажет какой-нибудь ловлас. – Потерять такую драгоценную для признания минуту».

Пусть так... минута эта была потеряна для любви, но не для сердца... Глаза наши встретились, – о, она меня любит, она любит меня!!

С. Петербург

В кругу молодых повес и полустарых петербургских степенников всех более понравился Правину бывший секундант его, ротмистр Границын. Как представитель нашего военного дворянства, он стоил изучения, потому что крайности рисовались на его нраве резкими чертами. Правин нашел в нем и более и менее нежели ожидал. Богат, и в долгах по маковку, и за редкость с рублем в кармане. Умен, и вечно делал одни глупости. Вольнодумец, и трется в передних без всякой цели. Надо всем смеется, а не смеет ничем пренебречь; всех презирает, и все им помыкают. Храбрый офицер, и не имеет довольно смелости, чтобы иному мерзавцу сказать нет! Благороден в душе, и, краснея, бывал употреблен на недостойные поручения, участвовал в постыдных шалостях; одним словом, человек без воли. Существо, которое в светской книге животных значится под именем: добрый малый и лихой малый – название самого эластического достоинства, как резиновые корсеты: оно для неразборчивого нашего племени заключает в себе всякую всячину, начиная с людей истинно благородных и отличных до игрока, поддегивающего карты, и виртуоза, подслушивающего у дверей, – терпимость истинно христианская, достойная подражания. Пускай себе возьмется французы да англичане со своим общим мнением: мы и без этого рогаля[125] живем припеваючи. Со всем тем любопытно, если не приятно, бывало рассидеть с ним вечер или присоседиться к нему за обедом. Где не был, чего не видал он? Хотя по привычке он большую часть жизни промаячил с пустейшими людьми, но он мог ценить живой ум в других и случаем читывал дельные книги. К привязчивому, чтоб не сказать наблюдательному, духу от природы прижил он невольную опытность. Он недаром проел с приятелями свое имение, недаром отдал женщинам свою молодость. От обоих осталась у него пустота в кармане и душе, а на уме – едкий окисел свинцовой истины. Им-то посыпал он щедрою рукою все свои анекдоты о походных проказах, все рассказы о столичных сплетнях. К чести Границына прибавить надобно, что он был самый откровенный болтун и самый бескорыстный злоязычник. За душой у него не схоронится, бывало, ни похвала врагу, ни насмешка приятелю, и часом он беспощадно смеялся над самим собою. Иной бы сказал: «это апостол правды», другой бы назвал его кающимся грешником; третий произвел бы в Ювеналы[126] – бичеватели пороков! Он не был ни то, ни другое, ни третье. Не хотел он сам исправляться, не думал исправлять ближних, зато не думал и вредить им. Он был твердо убежден, что там, где ценится лишь наружность добродетелей, не укор скрытые пороки; а потому злословие есть лишь гальваническое средство пробуждать смех в притуплённых сердцах. Этим исполнял он невольно склонность нашего времени – разрушать все нелепое и все священное старины: предрассудки и рассуждения, поверья и веру. Век наш – истинный Диоген: надо всем издевается. Он катил бочку свою по распутиям всех стран, давя ею цветы и грибы без различия. «Не заслоняй солнца, не отнимай того, чего дать не можешь»[127], – гордо говорит он македонскому Дон-Кихоту и потом освистывает Платоново[128] бессмертие; и потом с циническим бесстыдством хвастает своею наготою. Люди ныне не потому презирают собратий, что себя высоко ценят, напротив, потому, что и к самим себе потеряли уважение. Мы достигли до точки замерзания в нравственности: не верим ни одной доблести, не дивимся никакому пороку.

Но, слава богу, не все таковы. Есть еще избранные небом или сохраненные случаем смертные, которые уберегли или согрели на сердце своем девственные понятия о человечестве и свете. Издали жизнь им кажется заветным садом, и они с неизъяснимым любопытством читают на воротах Дантову надпись; «Per me si va nella citta dolente!»[129][130] и думают: «как жаль, что я не знаю по-итальянски: я бы разгадал эту заманчивую загадку».

Таков был Правин. Из корпуса он перешел на палубу, и как прежде каменная стена граничила его ребяческий мир, теперь его миром стал безграничный океан. Он хорошо узнал нрав моря,

но где мог узнать характер людей? Знакомо ему стало лицо неба: по малейшему его румянцу, по малейшей морщинке облачной предугадывал, предсказывал он все прихоти погоды, – но лицо женщины... о, это на каждой минуте приводило его в замешательство, ставило в тупик. Какое-то темное, но верное чутье говорило ему: «не верь и половине того, что говорят и выказывают люди», но вот вопрос: которой половине не верить? Явившись в свет с твердым сомнением, с решительным намерением быть настороже от всех и от всего, таял он от первого, казалось, душой затепленного взора, готов был отдать последнюю пуговицу, не только денежку за квакерское пожатие руки[131]. Зная страсти и обязанности только по слуху или из редких романов, им читанных, он загорелся любовью как от молнии, предался ей как дикарь, не связанный никакими отношениями. Океан взлелеял и сохранил его девственное сердце, как многоценную перлу, – и его-то, за милый взгляд, бросил он, подобно Клеопатре, в укус страсти. Оно должно было распуститься в нем все, все без остатка. Следя свою звезду-княгиню повсюду, о» не мог уже снести уединения, которое прежде было ему так сладостно; уединение стало ему одиночеством, и он кинулся в рассеяние. Быть с нею или не быть с собой – вот мысль, которая овладела им, и он начал посещать гульбища, театры, гостиницы.

В один из таких дней он сошелся, в одном из лучших трактиров столицы, с ротмистром Границыным. «А, дружище!» Сели за обед рядом; слово за слово, бокал за бокалом – языки разгулялись, и сердца зашипели, словно шампанское: «За Балкан, за Саганлуг! за Варну, за Аханцых[132]! за счастье России, за славу царя!» Было тогда чем пить, было и за что пить.

– Ну, теперь черед за женщин, за прекрасных петербургских дам! – сказал Границын Правину. – Не знаю, право, почему, только искони, где слава, тут приплетаются и дамы; уже не за тем ли разве, что сама слава – женщина? Итак, *pro teterrima causa omnis belli*[133]. Я страх люблю этот английский тост: *I like the women too, forgive my folly*[134], как говорит Байрон. *Amour aux dames, honneur aux braves*[135]. Черт меня возьми! Шампанское – славный самоучитель: оно свой язык вяжет, а чужим учит!.. Я, право, скоро стану язычником, как Иосиф Сенковский[136]: Алла верды![137] Пей же скорее, *amico diletto*: [138] шампанское выдыхается так же скоро, как и добродетель женщины!

– Ты опять принялся за свою старую песню, неисцелимый грешник, – отвечал Правин, осушая бокал до капли. – Видно, брат, укололся шипами, а бранишь розы.

– Шипами! шипами строгости небось? Ха-ха-ха! да ты презабавный чудак, *mon cher*[139]: ты своим простодушием не испортил бы ни одной классической комедии, в которой все ваши братья-моряки одного набора и одного разбора. Клянутся громом да молнией и пьют пунш вприкуску со здравым смыслом. Шипы у тафтяных роз! Ха-ха-ха! да этаких диковинок не показывал в Петербурге сам Пинетти[140]. Впрочем, не думай, пожалуйста, будто я хочу хвастать тебе победами, как пехотный подпоручик, и божиться по киевским святцам, что нет такой дамы, которая б устояла против огня сильных моих очков и гармонии серебряных шпор!! Удача, с одной стороны, прихоть, с другой – случай, и если мне подчас доставалось веером по пальцам, из этого следует только, что я не был счастлив, не то, что они были неприступны.

– Границын! помни, что унижение паче гордости!

– Испытай сам, увидишь. Стоит тебе раз попасть в оглашенные с какою-нибудь модницею, так расхватают по пуговкам. В этом, правда, чаще всего удается дуракам; но ведь у тебя, слава богу, на лбу не написано: здесь живет разум! Притом же моряк в обществе редкость и новинка. Иная красавица возьмет тебя из любопытства, чтоб увериться, не кусаешься ли ты. Другая, чтоб похвастать любезным земноводным, которого надобно держать на розовой ленточке, чтобы не юркнул в воду. Не теряй поры, Правин: я предсказываю тебе легкие победы!..

– Та беда, что я до легких побед не охотник.

– Бери вещи, как они плывут, а не как издали кажутся... Нам не перестроить на свой лад света; пристроимся же мы к его ладу. Да и правду сказать, для меня смешна эта рыцарская любовь, которая чахла, глаза на окошко своей Дульцинеи. Бог создал мир и человека в шесть дней, а мы станем любить вечно! Это что за известие! Любовь – весна сердца, но у весны много цветов... рви же розы и ландыши. Хорошо бордо в пол-обеда, но теперь лучше эперне... Посмотри на эту пену; это светская любовь, *mon cher*, – она резва и сладостна, но она мгновенна, – пей ее на полету!

– Я не понимаю тебя, Границын. Ты потчевашь меня светскими радостями, как будто бы они у тебя в погребу, как будто б мне стоит только ототкнуть пробку, чтоб они полились рекою.

– Славно, милый; право, славно! В тебе будет прок. Сперва у тебя не было и охоты, а теперь уж недостает только возможности. Вот тебе правило: смелость берет города... Я уверен, что тебе недолго носиться с пустым сердцем, как с сумою по миру... Столичные дамы такие добрые, такие чувствительные, а ты так свеж и занимателен, что грех заставить вздыхать понапрасну.

– И ты говоришь о подобных связях так легко и равнодушно, будто о трюфелях...

– Да неужели ты думаешь, что они для модного света важнее, чем трюфели? Разуверься, *mon ami!*[141] Наше воспитание обстригло у страстей ногти, и потому они мало опасны. Девушки у нас расчетливы на женихов; дамы осторожны с любовниками: ни те, ни другие не захотят себя компрометировать; но разогни у последних молитвенник – и ты увидишь науку любить в переплете под крестами. Да я их за то и не виню. Откровенно говоря, смех и горе, как у нас совершаются свадьбы! Мы торопимся жить, а жениться опаздываем: всякий хочет добиться до штабских или генеральских эполетов, чтобы дороже перепродать их по рядной записи. Невеста идет в придачу к приданому, а как сочтутся на деле – смотришь, у невесты недочет душ, у жениха даже тела. И вот наш его высокоблагородие или его превосходительство, которому уже в семнадцать лет незачем было ездить в Египет за разгадкою таинств природы, изволил жениться. Жена у него профессор туалетного богословия. Рукава пух с новоизобретенным механизмом; носки башмаков тупее ума графа Сивича! Шаль продень сквозь кольцо, но вряд ли саму ее вденешь в ухо. Она скачет верхом и стреляет влет; она играет и поет, только песни ее не всегда под голос мужа. Хороша ли, нет ли она собой, но она молода, она желает нравиться и наслаждаться, она умеет спрягать глагол я хочу не хуже г-жи Линьель; а что находит она в благоверном своем супруге? Под сукном да ватю – завернутый фланелью барометр, наполненный сладкою ртутью. Находит усталого чахлого человека, который по утрам кашляет, целый день зевает и каждый вечер скучает или докучает. День-деньской он на службе, а ночь в гостях: или – играет до утренних петухов, или хочет победить петухов за бокалом; он весь век будто маятник между бутылкой бургонского и стлянкой с лекарством. Хорошо еще, если он не отправляется тратить случайную искру веселости и здоровья с какой-нибудь актрисой. Таковы, брат, все мы гуси; чего же тут ждать доброго! Жена поневоле станет бегать из дома: там пахнет пустотою! Кончается тем, что дом ее будет в ложе первого яруса, отечество – в английском магазине, а рай – на балу... Глядь... молодежь увивается около нее, словно хмель, и вот какой-нибудь краснощекий франтик приглянулся ей более других. Рассыпается он в объяснениях мелким бесом, – насчет ума наши дамы неприхотливы, и если запоздает почта из Парижа, принимают и вывороченные доморощенные нежности. Клянется он так, что ведьмы крестятся от ужаса, нередко, проигравши и прогулявши всю ночь напролет, уверяет, что бледен с отчаяния от ее жестокости. Она, разумеется, ничему этому не верит, но, с должным для чиновной дамы приличием, с ноги на ногу идет навстречу к обману для того, чтоб при случае броситься в кресло, закрыть платком глаза и сказать: «вы, сударь, камень, вы, сударь, лед, вы злодей, вы меня обольстили!» Ну долго ли до беды! хоть беды в том я никакой не вижу. А Мефистофель тут как тут с своим носом. Он, скаля зубы, уже готовит его превосходительству

рожки самой лучшей работы – точеные и позолоченные.

– Ты клеветешь, – вскричал Правин, – ты сочиняешь из головы злые пасквили на общество! Я недавно трусью между вами, однако же не заметил и тени, не только следа, того разврата в нравах, какой ты проповедуешь. Мне кажется, напротив, петербургские дамы чересчур щекотливы и недоступны.

– Нет, mon cher! – вскричал проказник Границын, поперхнувшись от смеха, – ты из рук вон! Уж не служил ли ты, полно, под командою первого адмирала Ноя[142], гардемаринном? С твоею допотопною простотою не уйдешь ты у женщин далее гостиной: я тебе пророчу это. Верить щекотливости и недоступности здешних дам – так верить всякой эпитафии. Правда, потемкинский век миновал для любовников, но не для любви. Теперь дама не краснеет приехать на бал с мужем или поцеловать его в лоб при многих, а с кавалером – сервенте[143] своим говорит о разводах, о семипольном засеке и о Викторе Гюго. Но утешься, милый: купидон возьмет свое. Она знает, что хромоногий бес не снимет кровли с ее будуара[144], что замок ее спальни, чуть тронутый, наигрывает «reveillez-vous, belle endormie»[145] и что нескромный взор не упадет на трюмо, перед которым она примеривает или поправляет пелеринку у своей marchande de modes[146]. Благодаря европейскому просвещению и столичному удобству у нас все репутации так же круглы и белы, как бильярдные шары, по какому бы сукну они ни катились.

Доброе, чистое сердце Правина сжалось, внимая этой холодной повести о пороках общества, украшенных столь блестящею личиною смиренности.

– В самом деле, – молвил он с горькою улыбкою, – я знал не более устрицы о нравах света в корабле своем! Я постигаю в женщине слабость; могу представить, что страсть может увлечь ее; но поместить в свою голову мысль об этом глубоком, расчетливом, бесстрастном разврате – это выше сил моих! Я видел в Турции одну баядерку: она вынула из-под подушки своей вески и медленно взвешивала предлагаемые ей червонцы, надбавляя цены, глядя в очи путника. Не так ли взвешивают твои дамы сердечную забаву, бросая в другую чашку возможность скрыть ее! Они берут оброк и с титула добродетели – уважением и с сущности порока – наслаждениями. О свет, свет! ты даже из самой невинности делаешь новый порок, заставляя порочных быть самозванцами и скрываться под краденным у тебя платьем!

– Ты напрасно горячишься, – возразил ротмистр. – Лицемерие есть невольная дань нравственности, а всякая дань – узда. Нередко знатные дамы обязаны сохранением своего имени без пятна мелочному расчету не запятнать своего платья, и я уверен, что китовые усы в старину сохранили более браков, чем в наше время разорвали их гусарские усы. Пускай же плетут пустые люди кружева из песка, называемые модою; пускай себе старушки в чепцах и фраках с важностию рассуждают о лучшем способе чихать за обедней и кланяться на выходах: без этих вздоров лучшее общество сгнило бы, как Пресненские пруды. Не бывать в лохани буре, так ему надобна мутовка. Впрочем, будем беспристрастны, mon cher. Слова нет, свет очень развратен, но совершенства, слава богу, нет и в этом. Природа – великое дело. Она хоть и не смеет горланить в гостиной, как в трагедии, но в тиши кабинета обращает в свою веру многих. Бывает, что связь, начатая минутного прихотью, очищает огнем своим сердца и переливается в долгую, бескорыстную страсть, готовую на все жертвы, выкупающую все заблуждения, страсть, которая бы сделала честь любому рыцарю средних веков и любому человеку во всех веках. Я, не верующий ни в невинность мужчин, ни в верность жен, я сам...

Границын глубоко вздохнул и умолк в раздумье... перед его очами носились образы милые, но укорительные...

– Да, – молвил он печально про себя, – да, я ее не стоил!..

– Послушай, Границын, мне жаль тебя, – с чувством сказал Правин, – и я не могу понять, как, проповедуя против пороков не хуже Саллюстия, ты пляшешь по дудке, не говорю уже как Саллюстий, но как Репетиллов в «Горе от ума»!

– Таковы все мы, рожденные на границе двух веков, милый мой; восемнадцатый нас тянет за ноги к земле, а девятнадцатый – за уши кверху. Не разберешь, право, что мы такое? ни рыба, ни мясо, ни Европа, ни Азия. На прошлое мы недоумки, в настоящем недоросли, а в будущем недоверки, чуть ли не Spottgeburt aus Dreck und Feuer[147]. Животным привычкам нашим любо валяться в грязи-матушке; но ум уж проснулся; ум просит поесть и хочет разгрызть орех современного просвещения, да жалуется, что у него болят зубы от свекольного сахару.

Правин был недоволен оборотом разговора. Макиавель и Купидон[148] – заклятые враги друг друга. Ему хотелось получше изведать море, называемое женщиною; а когда он думал о женщинах вообще, это значило, что он разумел в особенности княгиню Веру. И вот он искусно свел разговор на прежнее.

– Неужели, – сказал он Границыну, – развращение столичное так всеобщее? Неужели не найти дамы, на чье доброе имя, как на этот хрустальный бокал, не всползти ни одному червяку злословия?

– Я не обер-полицеймейстер, милый друг; мне ведь не подают списков о числе рогатого племени в столице. Буало[149] насчитал в Париже до двух Лукреций[150]; Пушкин в целой России не находит трех пар стройных ножек[151], – я принимаю то и другое за клевету, и хотя суровые сердца должны быть реже, нежели маленькие следки, со всем тем я в самом Петербурге назову тебе более дюжины верных супругов.

– И, верно, в числе их поместишь жену Мирона Ильича Н. и княгиню Веру, жену князя ***?

Произнося, однако ж, последнее имя, Правин покраснел как маков цвет. Первая любовь не может равнодушно слышать любимого имени, не может без замешательства произнести его.

– Про первую ничего не скажу, и этого уж довольно к ее чести, а другая московская звездочка – гм! она так недавно блеснула на петербургском горизонте... она еще в медовых месяцах супружества, – где ей просветиться! где успеть злословию подстеречь ее, если б что и было?

Лицо Правина прояснело.

– Если б что и было! – молвил он. – Никогда и ничего не может быть.

– Ты не член ли страхового общества, Правин? – насмешливо возразил ротмистр. – Смотри, друг, обанкротишься, если принимаешь на поруки такие ломкие вещи. Важное слово нет, а не может быть еще важнее. Постой-ка, дай бог памяти... княгиня Вера?., гм!! князь Петр!., он толст и прост, она красавица и мечтательница... скорее соединишь масло с шампанским!.. Ну, я раскину словно на картах... между ними улегся какой-то червонный валет – это дипломат-поэт, кудрявый архивариус коллегии иностранных дел. Этот поэт ищет себе напрокат вдохновения и пожаловал, кажется, княгиню в музы. Слепой разве не заметит, как увивается он около нее, как оборачивается следом за нею, будто подсолнечник. Куда бы княгиня ни явилась, он как гриб из-под земли вырастает; ни дать ни взять, сказочный сивка-бурка, вещей каурка. На бале у австрийского посланника он напевал ей что-то на ухо в продолжение высокосного котильона: вероятно, читал седьмую главу «Онегина»! Ну, пускай мне первый мой враг скажет: «Comment vous portez-vous?»[152] в глаза, если между ними чего-нибудь не заводится. Я старый воробей: меня, брат, не озадачат никакие маски.

– Его имя? – заботливо спросил Правин.

– Ты знаешь его в лицо, не только по имени; да если и не знаешь, так заметишь с первого

взгляда, когда найдешь их вместе. Один разве бесстрастный муж или страстный влюбленный может быть так слеп, чтоб ничего тут не видеть.

– Его имя? – с бешенством повторил капитан. Кровь его кипела.

– Иероним Ленович.

Как шпага, пронзило это имя сердце Правина, и на него низались уже в его памяти тысячи вероятий, тысячи сомнений. Да, точно, он сам видел их умильные взоры!.. Правин уже не слышал более, что говорил товарищ. Сердце его дрожало, будто в лихорадке, кровь то стыла, то жгла его... невнятный ропот исчезал на губах. Он пожал Границыну руку, бросил на стол ассигнацию и, не ожидая сдачи, вышел, поскакал домой. Отрывчатые восклицания и мысли сталкивались.

– Так молода и так коварна! – говорил он. – И к чему было обманывать меня сладкими речами и взорами? зачем мапить к себе?.. Или она хочет забавляться, дурачить меня? держать вблизи вместо отвода? Меня дурачить! Нет, нет, этому не бывать! Скорей я стану ужасен ей, чем для кого-нибудь смешон... И кто бы мог подумать, кто бы!.. Впрочем, быть мошет, все это вздор, зависть, пустые сплетни... да и что мне до этого?.., чем я привязан к ней, чем она мне обязана? А хотелось бы узнать, однако же, истину – так, из одного любопытства, – я бы посмеялся ей... я бы заставил ее плакать кровью!! Но как добраться до открытия в городе, в котором редкий муж дерзнет поклясться, целуя жену свою вечером, что целует ее сегодня первый, где потому только все невинны, что в истинной невинности можно усомниться, а истинной вины нельзя доказать.

И сон не освежил Правина. Под изголовьем его шевелились ревнивые мечты, – и сколько насмешек наготовил он для первой встречи с княгиней Верою, для первой сшибки с ее угодником!

– Дай только мне увидеться с нею... – говорил он, скрежеща зубами.

И всему этому виной были слова Границына, слова, основанные на пене шампанского и на желчных догадках болтуна. Бегите, юноши, встреч, не только дружбы с подобными людьми! Они безжалостно обрывают почки добрых склонностей с души неопытной; они жгут и разрушают в прах доверие к людям, веру в чистое и прекрасное; боронят пепел своими правилами – и засевают его солью сомнения.

Капитан-лейтенант Правин к лейтенанту Какорину

Август 1829 года, в Кронштадт.

Еду, еду к вам, завтра же еду, любезный Нил! Да и что мне делать в этом Петербурге, в этой столице раскрашенных снегов[153][154], как говорит Байрон. Да и какой безумец выдумал влюбляться, да и какой лукавый дернул меня за полу полюбить светскую даму?.. Любить! любить! Как дико звучит это слово в свете! Отголоски, будто в пещере, повторяют много раз: любить, – но кто отвечает вам? Камни... хуже, чем камни, – пустота! Содрогаюсь от негодования... И я мог думать, мог верить, что любовь может уютиться в сердце, слепленном руками света! Безумец! безумец! скорее найдешь сочувствие в раззолоченном яичке для детей, на котором снаружи написаны нежности, в середине насыпаны сладости, а все вместе – дерево, крахмал и сусальная позолота. Но что говорить о том, чего не воротишь! Не

возвратится и любовь моя. Поздравь меня, Нилушка, я здоров; я сбросил с себя страсть к княгине Вере, вместе с модными побрякушками. Теперь, чем скорее в море, тем лучше. Земля, кажется, горит подо мною, горит и сердце, – и лишь в туманах океанских погашу я его!

Поговорим о деле. Ты пишешь, что адмиралтейство не дает довольно мастеровых и не отпускает хороших материалов, что во всем задержки и недопуски... Все это, все эти господа меня скоро взбесят: я буду жаловаться прямо начальнику штаба, или воображают они, что после грозы для них будет роскошнее сенокос?.. Пусть разубедятся в этом. Прошли уж те времена, когда корабельные мастера строили дома из мачтовых деревьев и крыли их медного обшивкою... Теперь едва они спроворят себе и на глаголь.[155]

Поставил ли ты козлы, чтобы переменить бизань?[156] Посадил ли в должный уклон бушприт?[157] Навесь десять, двадцать на него бочек с водою, если упрямится... я терпеть не могу бушпритов, которые задирают нос кверху, словно дежурный камер-юнкер. Для марсовых септоров[158] просил ты рисунка сеток. Долой их, сбрось совсем прочь и прежние. Эти узорчатые плетенки напоминают мне дамские кружева... на последнем бале княгиня была вся ими изувешена. Ты, пожалуй, скажешь, что, верно, я пришел туда, увидел, победил. Увидел и возненавидел ее, друг мой... Стоит рассказать тебе, как это было: может статься, для тебя это будет любопытно, а для меня как памятно! Чудом показалось тебе, что я ездил на бал; что же будет, когда я скажу, что ездил на бал незванный и в дом мне вовсе не знакомый; что я был там только из желания взглянуть на нее, и взглянуть неприятельски. Я уж писал к тебе о своих подозрениях: я жаждал или прояснить, или рассеять их, и долго напрасно. Не находил я ее дома, не встречал в городе. Наконец узнаю, что княгиня Вера отправилась на званный вечер за город, к графу Т. Как быть? Я там незнаком, туда не зван; нетерпение мое возросло до нестерпимости, ревность – до бешенства. Решаюсь хоть умереть, а взглянуть на нее. Сажусь в наемную карету и скачу на тринадцатую версту по Петергофской дороге. Приезжаю... вхожу... встречаю хозяина, – на дороге уже изобрел я предлог посещения: граф – страстный охотник до редких книг и обладает богатою библиотекою, – я прицепился к этому. «Простите, граф, флотскому чудаку неуместность его визита, но пусть необходимость извинит меня: я могу располагать только настоящею минутою и, проездом в Ораниенбаум, решил заехать к вам с просьбою. Вот в чем дело. Я пишу записки об истории мореплавания, а ваша библиотека знаменита в целой России; только у вас можно найти книги, редчайшие самых кладов, и между прочими, я знаю, что у вас есть в оригинале путешествие испанца Гвереры в Южном океане; а оно для моего предмета необходимо. От вас зависит крайне обязать меня, ссудив этой книгою для прочтения». Граф был доволен как нельзя более... цап меня под мышку и потащил в свою библиотеку. Скрепя сердце должен я был дивиться глупостям всех форматов, типографическим редкостям в ослиной и в телячьей коже, бесценным лишь потому, что их давным-давно никто не читает. Я чихал от пыли старины, я протирал себе глаза, я проклинал и книгопечатание и книгобесие, но хозяин этой кунсткамеры был неумолим и отпустил мою душу на покаяние не ранее, как перещупав спинки всех своих диковинок. Наконец, вручив мне заветные сказки испанца, пригласил в танцевальную залу, – я только того и ждал. Закрыв шляпою сердце, точно как голубка, чтоб оно не выпорхнуло, пробирался я дальше и дальше. Прелестные личики мелькали мимо в бешеном вальсе, то оперенные, то расцвеченные, то осыпанные алмазами; по как в тысячах звезд назвал бы я звезду любимую, так издали и в толпе распознал я княгиню Веру... Никогда еще не казалась она мне так прелестна, так воздушна, так идеальна! Любовь проникла и осветила все ее существо: она горела в очах, дышала устами, пробивалась лучами сквозь все поры, – зачем измена может быть столь очаровательна!.. И вдруг я заметил, к кому обращены были ее очи, кто одушевлял ее такою необычайною прелестью, – душа у меня превратилась в лед, а ум в уголь... ужасный миг!.. Итак, все, что мне говорено, все, что подозревал я, – правда! Итак, я потерял ее, не владев ею!.. Не замечая меня, она села рядом с вечным моим соперником; что-то говорила с ним вполголоса; оба они улыбались от удовольствия, и порой она задумчиво склоняла голову и глаза ее подергивались туманом мечты... О, как проклинал я тогда сладкозвучную музыку! Она

мешала мне слышать разговор! она, казалось, раздирала мне слух и сердце. Кровь кипела в жилах растопленным металлом... Да избавит небо злейшего моего врага от мучений ревности, – какой еще ревности! которой я не имел права чувствовать и не смел показать; но мог ли я тогда владеть собою? Думаю, что лицо мое было страшно, потому что страшное совершалось в душе моей. В ту минуту, как они оба встали, чтобы вальсировать в свою очередь, когда она подала ему свою руку, я устремился, как тигр на добычу, я возник перед ней, как призрак-укоритель, – и я наслаждался ее смущением, я с улыбкою видел, как погас ее взор, блиставший за миг яснее алмазов ее диадемы; видел, как поблек ее румянец, как замер льстивый голос на устах! О, сладка месть, сладка! Гомер недаром назвал ее страстью богов... Зачем же нельзя сказать того же о ревности? зачем же нету в ней, в этой адской страсти, ни одной отрадной капли, напоминающей небо!

Я отвратил мое медузино лицо от испуганной четы – и скрылся. Я мчался во весь опор... Катай, извозчик, удуши лошадей; пять, десять, двадцать рублей тебе на водку! Я летел; колеса жгли мостовую; я хотел закружить себя быстротой, упиться самозабвением, – напрасно! Чудные чувства бушевали в моей груди: то я давал полный разгул моему негодованию и смотрел на княгиню и ее Миловзора[159] с ледяной вершины презрения. Стоит ли взора, не только вздоха, женщина, которую слепит мишура, пленяют пошлые каламбуры? Потом горячая, глубокая зависть пронизала душу: я завидовал, и чему же! блистательной ничтожности светских любезников, их кукольной развязности, их птичьей болтовне с дамами, – мало этого: я завидовал приманчивому богатству глупца, связям мерзавца, даже искусству бездельника делать огромные долги, уменью игрока обыгрывать в карты, низости продавать себя дорого или учтиво грабить других – средствам, принятым у нас в число оптовой торговли душою, которые бы дали мне возможность часто быть с нею, ДИВИТЬ ее, блистать в обществе, в котором золото, какими бы путями ни было добыто оно, дает все права гражданства!.. Правда, такое унижительное желание пролетело сквозь меня вмиг, но пожалей меня, что оно могло пролететь даже мимо. О любовь, любовь! ты мать и мачеха душе человеческой! ты можешь ее возвысить до звезд и утопить в луже. Ты делаешь героев или злодеев из людей с могучею душою, честолюбцев или мерзавцев из людей слабых духом... Я ненавижу тебя, я проклинаяю тебя, я срываю долой твои пути! и... о, слабость недостойная – я плачу над обломком своего ярма... Хорошо, если б я мог плакать, если б я мог еще рассуждать!

С. – Петербург

III

Zwei liebende Herzen sind wie zwei Magnctuhren: was in der einen sich regt, muB auch die andere mit bewegen, derm es ist nur Ems, was in Leiden wirkt – eine Kraft, die sie durchgeht.[160] Golthe

Фрегат «Надежду» приказано было изготовить к осени для дальнего похода. Его ввели опять в гавань для перегрузки трюма, для перемены некоторых частей рангоута и стоячего такелажа. Командир судна, Правин, был уважаем, как офицер отличной храбрости и познаний, и ему дали средства украсить фрегат свой на щегольство, со всеми прихотями, доступными боевому судну: бронзу на винты каронад, на решетки каютных люков, на кофель-нагели, на поручни к трапам; дуб с резьбой и красное дерево по каютам. Терзаемый ядом ревности, Правин хотел деятельности]» подавить тоску сердца и старую страстью заглушить новую. От зари до зари не сходил он с палубы, и ни одна безделка, ни малейшая подробность не ускользала от его внимания. Он все осматривал лично, все поправлял сам;

своею привязчивостью он надоел даже Нилу Павловичу, а Нил Павлович сам был знаменит на флоте своею точностью.

– Слава богу, – сказал однажды тот лекарю Стеллинскому, – наш Илья образумился: служба как рукой сняла с него дурь. Я недаром говорил, что распыренная духами модница-любовь убежит от смоляного духу, как бес от ладану!

– Если она и убежала, так вовсе от другой причины, – возразил Стеллинский. – Капитана исцелили мои фумигации[161]... Он вовсе не замечал в рассеянности, что я подмешиваю в его курительный табак лекарственные травы.

Но исцелился ли, полно, Правин?

Между тем работы кипели, вооружение росло, и с ним вместе росло нетерпение Правина. «Скорей бы, скорей вытянуться нам на рейд, и тотчас в море, и как можно вдаль от этого проклятого Петербурга! Вовеки нога моя не будет там!» – воскликнул он однажды, и через два часа Правин стоял уже над колесом бертовского парохода[162], как будто считая каждый оборот его, шумно роющий воду. И вот г. капитан-лейтенант и кавалер Правин в столице. Да помилуйте, как ему и не быть в столице! На обсерватории у него поверяются хронометры; из Академии наук надобно ему получить ученые инструкции, из адмиралтейства – новые карты, от начальника штаба – особенные приказания. Да и почему не остаться ему день-другой лишний? ведь не завтра подымать якорь. У него же такой надежный помощник на фрегате!.. Мы чрезвычайно богаты на доводы, когда хотим потешить свою прихоть. Стоит только вздумать да загадать – за возможностью дело не станет.

Со всем тем гордая решимость Правина: не искать, не видеть княгини, была непоколебима. Мысли его, как улитковые линии, сходились всегда в одну точку, – и эта точка была она; зато сам он, будто ринутый средобежною[163] силою, все далее и далее бродил от тех мест, где бы мог встретиться с нею. Правин был поэт в прозе, поэт в душе, сам того не зная; да и есть ли на белом свете человек, который бы ни однажды не был им? Вся разница в том, что один чаще, другой реже, один глубже, другой мимолетнее. Не одни величавые красоты природы поражали и пленяли Правина, нет, он горячо любил все произведения¹ искусства, запечатленные поэзией, в чем бы она ни проявлялась: в стихе, в смычке, в кирпиче, в бронзе – и там, где человек слил свои труды с природою, и в том, где перетворил ее по своему безотчетному идеалу. Любовь изострила в нем чувство изящного, и теперь чувство, выброшенное из русла, разливалось прямо из сердца на все предметы, одушевляло все его окружающее. Лоно вод дышало для него звуками грустными, но приятными; воздух веял словно дружеской рукою в лицо. Он находил новый, но знакомый смысл в книгах; схватывал сладостные переливы в стихах, которые незадолго казались ему беззвучными; занимательность сказалась ему в наличнике дома, в колонне, в картине. Он иногда простаивал по четверти часа, любуясь какою-нибудь частью города, улицею, мостом, красивым домиком. Он не замечал усмешек и толчков прохожих, благоговей перед монументом Петра Великого[164]; но всего более полюбил он бродить по великолепным комнатам дворца, известного под именем Эрмитажа... это было его наслаждение, его утешение. Там казалось ему, что он снова повторяет свои путешествия, и образы мира на миг заслоняли от очей души образ ненавистный и милый. Он утихал, как дремучие болота Рюисдаля[165], вдыхал свежесть ночей Фан-дер-Неера[166], летел с кораблем по желтому Немецкому морю фан-Остада[167]. Портреты фан-Дейка шевелились, небо Рафаэля растворялось... Правин хотел удержать камни, летящие в св. Стефана Лесюерова[168]; врубался в ряды мидян с Пуссеном[169], молился с блудным сыном Мурильо[170]. Прелестные личики улыбались ему, рыцари протягивали руки, сельский праздник манил к себе[171]. Шумная встреча штатгалтера тянулась мимо, и будто знакомые люди кивали из толпы головою, грозили перстом из окна. Влево шумел черный лес Сальватора[172], вправо плескалось бурное море Вернета[173]; люди, климаты, города, небеса, океаны во весь рост развивались, росли, смешивались, меркли. То был какой-то гармонический, но безмолвный

танец образов, идей, веков; то был осязаемый микрокосм души человеческой, начиная с грязной вещественности Теньера до недосыгаемой святости Урбино[174], – бескопечный как хаос, неясный как спы, уже готовые, но еще не выдавшие человеком.

Правил обжился, ознакомился с обитателями этого мира, в котором дремал он наяву. Но, кроме бескорыстного наслаждения рассматривать зеркальные ширмы света, закрывавшие от него досадный, настоящий свет, Эрмитаж привлекал его прямым отношением к его страсти. В комнатах, заключающих Музей Жозефины[175], между прелестною Гебою и танцовщицею Кановы, возвышается, его же резца, чета Амура и Душеньки. Душенька эта была ни дать ни взять вылитая княгиня Вера. К ее-то подножию спешил Правин отдыхать от забот службы... Отдыхать? О, столько же отдыхает труженик на постели, усыпанной щебнем!! Нет, он спешил туда горевать наедине и высказывать подобно изменницы свои упреки, проклинать ее и восхищаться ею.

Вы, верно, видели эту прелестную купу, одно из лучших творений Кановы! Душенька, обнявшись с Амуром, любуется бабочкою, сидящею у нее на ладони. Высока так, как небо, чиста, как луч солнца, многоплодна, как самый климат Греции, была идея выразить сочетание души с телом, или юности с любовью, любовью Амура и Психеи. Но если группа Скопаса[176] (поцелуй их) превосходна в отношении к искусству, в отношении полноты превосходнее группа Кановы. В той вы видите символ перво-быта – страсть; в этой символ нашего времени – мысль. У современного нам художника идея жизни расцвела иде-его бессмертия. Вглядитесь хорошенько в идеальные лица обоих любовников: под младенческую улыбку Душеньки вкралась уже неясная дума. Она еще усмехается рассказам своего милого, но уже мечтает о преображении, загадка эта уже томит ее. Напротив, ветреник Амур едва обращает внимание на бабочку – его глаза прильнули к Душеньке, будто бабочка к розе. Положение кисти левой руки, ласкающей плечо Душеньки, на котором она покоится, доказывает, что чувство для него сладостнее думы, а движение правой руки, кажется, молвит уже: «Пусть она летит, эта бабочка!» Со всем тем мысль невольно бросила на лицо, на осанку обоих тень важности, в противоположность с отроческими их формами. Зато какая прелесть в повороте голов, какая нега в выражении лиц, какая легкость в постановке (pose), благородство в осанке! Пламенный резец Кановы размягчил в тело мрамор, но мысль дала жизнь этому телу, сделала его прозрачным и воздушным – одним словом, вдохнула в него душу.

Вереница других сравнений, других применений мелькала в воображении Правина. Как мало лет и как много происшествий, как много исторических лиц протекло у стоп этого мрамора! Перед ним, может быть, не однажды плакала развенчанная царица французов. На нее падал мимолетный как молния взор Наполеона, безумствующего о завоевании мира. На него глядела толпа королей и полководцев – одни с рассеянностью пресыщения, другие с равнодушием невежества, многие с завистию: зачем это не мое! И где очутился этот мрамор из чертогов Тюльери? И потом, где те, которые любовались им так недавно? «Одних уж нет, другие странствуют далече[177]!» – со вздохом думал Правин.

Поутру в какой-то праздник Правин, сам не зная как, очутился у стоп Душеньки. Он погрузился в глубокую думу, в живую грусть, любясь милыми чертами.

«Когда я увидел тебя впервые, – думал он, – мне казалось, что ангел кликнул мою душу по имени, что ты из младости обручена мне сердцем! Безумец!., я смеялся над этою дикою мыслию – и, влюбленный, поверил ей, предался ей... и чему после этого верить, если не верить такому лицу? Так прелестна и так коварна! столь умна и столь легкомысленна! И зачем я встретил ее, зачем дозволила она себя полюбить! Внушить такую пылкую страсть, раздуть пожар и потом развеять пепел сердца по воздуху, не уронив даже слезы участия, не только взаимности; поманить надеждой и предаться другому!..»

Правин был один-одинехонек... Он тихо колебал головою, и слезы текли неслышимо по его

лицу.

– Вы плакали! – сказал кто-то подле него.

Голос этот бросил трепет во все его существо. Сладкозвучен и нежен был он. Глубокое участие отзывалось в нем. Правин обернулся: рядом с ним стояла княгиня Вера, в газовом золотошвейном платье, в полном блеске убора, и красоты, и молодости, во всем очаровании чувства... Она была лучезарна, божественна! Видно было, что она ускользнула с выхода подышать свободнее на просторе, взглянуть на мастерские произведения резца и кисти, быть может влекомая тайным предчувствием сердца, – а сердце наше вещун! недаром сказано Дмитриевым.

– Вы плакали? – повторила она; она была тронута. Первое обаяние прелести миновало, вспышка негодования улетела с сердца Правина, но обиженное самолюбие – червь; оно не имеет ни ног, ни крыльев – оно осталось. Он отступил, поклонился княгине с холодной почтительностью и отвечал, краснея:

– Да, княгиня, я плакал, и горьки были слезы мои... Я думал, что я здесь один...

– Неужели для вас больно, капитан, что я в ваших глазах застала слезу?.. Чудные создания мужчипы: не краснея могут хвастаться кровью друга и стыдятся слезы чувства!..

– По крайней мере я должен стыдиться этих слез, и признаюсь, всех менее вас желал бы я иметь свидетелем такой слабости: слез моих не видал и не увидит свет, и будьте уверены, княгиня, что они не прибавят блесок ни на чье платье!

Правин никогда не говорил княгине о любви своей, но какая женщина не понимает пламенной речи взоров, румянца щек, волнения груди, трепетания руки? Княгиня и в этот раз поняла весь укор Правина. В ее ответе видно было более чувства, чем гордости.

– Неужели вы думаете, капитан, что удел мой одна мишура и блески, что я не знаю слез горя? Но вы бросили стрелу еще далее, еще глубже: вы почти сказали, что я могу радоваться чужому горю. Скажите, чем заслужила я такое несправедливое обвинение? и от кого же?..

Правин смешался. Он был пойман, как школьник, который выскочил вперед для объяснений с учителем и оробел от его грозного взгляда. В таком случае начинают обыкновенно уверять, что и не думали ничего намекать против, что никогда бы не осмелились и подумать обвинять!.. Правин наговорил кучу подобных пошлостей.

Княгиня грустно качала головою.

– Капитан, – сказала она, – откровенность флотских вошла в поговорку, – вы хотите опровергнуть ее. Я уже несколько дней замечаю, что вы на меня сердиты.

Правин будто проснулся от сна.

– Я докажу вам на деле откровенность мою! – сказал он горячо. – Знаете ли, княгиня, на кого походит эта Душенька!

Княгиня улыбнулась с самодовольным видом, подняла глаза на мрамор и, зарумянившись, сказала:

– Многие из подруг моих находят, будто во мне есть небольшое сходство с этою статуею, но, признаюсь, я мало верю комплиентам женщин.

– Поверьте же чувству мужчины, княгиня! Сердце не обманчивый знаток. Признаюсь вам, я уже не впервые у ног этой Душеньки. Было время, что я приходил сюда любоваться ею,

высказывать ей то, чего не смел говорить ее подобию и не мог таить в себе. Теперь... о, теперь совсем иное дело: я пришел излить на нее свои укоры и уронить на бесчувственный мрамор слезу тоски невыразимой. Вы сами вызвали мою откровенность – услышите же ее вполне. Да, княгиня! теперь не время притворствоваться: я не хочу этого, если б мог – не могу, если б и хотел... Не отрицайтесь, не говорите: «Нет» – вы видели, вы знали, что я люблю вас; но вы не знали, как я любил вас; вы не поняли меня, не оценили этого сердца – сердца, переполненного к вам любовью!.. Видите ль эти царские сокровища? Видели ли вы Грановитую палату? В нее каждый век сносил свои драгоценности, свои короны, свои оружия и воспоминания, – не смейтесь же сравнению: мое сердце – это Грановитая палата! Его я бросил, его рассыпал бы я к ногам вашим: мои чувства, мои мысли, моя страсть стоили бы жемчуга и золота!.. Черпая из этой сокровищницы, я мог бы стать всем, чем бы только захотели вы меня видеть – вы, властительница, царица души моей! всем, чем вы бы велели мне быть! Сказали бы мне: будь поэтом! – и через год я склонил бы свою увенчанную голову перед тою, которой обязан вдохновением. Разве не поэзия высокая любовь моя! Разве нет пылу в моей душе? Я бы разбил ее в искры, и звуки, и мысли, – и свет ответил бы мне вздохами, и слезами, и рукоплесканиями! Пожелали ль бы вы увидеть меня героем – и что бы устояло против меня? И скоро я бы сжег ваше сердце лучами моей славы. Этого мало: я, жадный деятельности, я, честолюбец в душе, я, в котором внутренний голос говорит: «ты можешь быть многим», я бросил бы саблю и перо, отказался бы от милых бурь океана, ото всех радостей и обольщений земли, даже от страсти к познаниям, и весь век мой бросил бы слитком золота в поток забвенья, для того только, чтобы любоваться вами, как миром, слушать, как райскую птичку, чтобы только быть близ вас часто, дышать вашим дыханием – угождать вам, боготворить вас... но вы, вы не захотели этого...

Говоря это, Правин схватил руку княгини, между тем как его пылающие речи и взгляды пронзали сердце ее.

– Полноте, перестаньте, умолкните, капитан! – вскричала она. – Я не хочу, я не должна вас слушать. вспомните, кто я, вспомните, что я: на руке моей сжимаете вы кольцо, – оно видимое звено невидимой, по неразрывной цепи, меня окружающей. Судьба моя – навек принадлежит другому!

Правин горестно опустил ее руку.

– О, если б одна судьба стояла между нами, я бы менее роптал. Я бы завидовал, глубоко бы завидовал человеку, которому досталась рука ваша, но он сам позавидовал бы мне, если б вы отдали мне свою душу. Было время, что я веровал в это сочетание, в это супружество душ... Напрасно! Поманив меня взаимностию, вы с насмешкою отвернулись от меня, отвергли мою безграничную любовь, оттолкнули мое сердце – и не судьба, не долг супружества были тому виною, нет: иное чувство, иная любовь! Да, княгиня, я сейчас думал: «Эта Душенька вылитая княгиня Вера; жаль только, что Амур вовсе не похож на Леновича». Будь еще это, и всякий бы сказал, что Канова[178] снимал эту чету с вас обоих, когда вы собирались вальсировать!

– Удержитесь, Правин, – с жаром прервала его княгиня. – Пустая ревность ослепляет вас: Ленович – близкий родственник моего мужа и давно жених моей двоюродной сестры, Софьи З., единственного друга моего девичества. Теперь, когда я говорю с вами, он уже в Москве, он уже у ног ее. Об ней-то, об ее-то судьбе говорили мы с ним, когда вы явились внезапно, неприглашенные, на бал к графу Т. Несчастный бал! несчастная Вера!.. внушить столько страсти, и несколько доверия... Нет, капитан! кто любит, тот верит, до легковерности верит: это я знаю по себе; нет, сударь, вы не стоите, чтобы я оправдывалась. Боже мой, боже мой! думала ли я когда-нибудь, что из пустого подозрения, из ничтожной наружности я потеряю доброе мнение человека, которого всегда отличала, которого так много уважаю, так горячо люблю!..

Вера была увлечена досадою; досада есть лучшее средство заставить женщину высказать сердце. Но что для опытного любовника было бы делом расчета – тут было делом случая. Последние слова княгини вырвались из сердца не как признание, но как восклицанье. Она забылась, – но мог ли счастливец забыть сказанное? мог ли не верить, что признанное было истинное чувство? Нет, никогда лицемерие не говорило таким голосом, не сверкало таким взором! Все сомнения исчезли, душа растаяла в Правине, он впал в какое-то исступление восторга: осыпал поцелуями руку Веры, прижимал ее к своему сердцу.

– Оно ваше, навеки ваше, божественная женщина! – восклицал он. – Кто даст мне сил вынести мое благополучие!.. Теперь я готов сжать руку злейшему врагу как другу, обнять целый мир как брата!

Княгиня ничему не внимала, ничего не видела; казалось, с роковою тайпою вылетела из нее жизнь. Склонясь челом на пьедестал Душеньки, она была бледна, как та... Крупные слезы дрожали на опущенных ресницах, она вся трепетала как лист; Правин испугался...

– Что с вами, княгиня? – вскричал он.

– Удалитесь! – едва могла она произнести. – Теперь вы все знаете, будьте же великодушны – уйдите! В иной раз, в другой день мы увидимся... теперь я умру со стыда, если взгляну на вас. Когда вы дорожите хоть сколько-нибудь моим спокойствием – оставьте меня!

Полон блаженства и страха, Правин удалился.

Вечеру князь Петр с озабоченным видом, но с салфеткою в руке вышел из столовой навстречу к доктору, который на цыпочках выходил из спальни княгини Веры.

– Ну что, любезный доктор, – спросил он, вытирая губы, – какова моя Верочка?

Доктор с значительною улыбкою, которую носил он неизменно на все обеды и похороны, отвечал, что слава богу, что это напрасно, что это пройдет! Доктор этот, извольте видеть, мастер был золотить пилюли, и оттого кармашки его всегда подбиты были золотом. Не решали, впрочем, потому ли он знаменит, что искусен, или потому, что дорог.

– Прописали ли вы ей что-нибудь, доктор?

– О, за мной дело не станет, ваше сиятельство! Я настроил рецепт длиннее майского дня, и если княгиня будет в точности принимать, что я предписал ей, то лихорадка убежит от первого взвода баночек.

– Каков у нее пульс, доктор?

– Немножко неровен, ваше сиятельство, – отвечал тот, натягивая с трудом нижнюю петлю фрака на пуговицу, – да это минует, когда уймется попеременный зноб и жар; надобно потеплее укрыть княгиню.

– Что за причина ее болезни, доктор? Сегодня поутру на выходе она была весела словно ласточка, и вдруг...

– Самая естественная причина, в. с! Извольте видеть: наша зеленая зима, которую мы условились называть летом, очень непостоянна, а дамы одеваются чересчур легко... Все зефиры, да дымки, да кисеи, да газы...

– Нельзя же в палатине ездить на выход! – заметил князь Петр с важностию.

– Нельзя же в газовом платье и не простужаться, ваше сиятельство. Притом везде сквозной ветер...

– Так вы думаете, что это от простуды, доктор?

– Без всякого сомнения, ваше сиятельство.

– Но она так тяжело вздыхает, доктор, будто у нее заложило грудь; она стала так капризна, что ни сообразить, ни вообразить нет способу... не хочет даже, чтобы я был при ней.

– Это все от простуды, ваше сиятельство.

Добрый доктор готов был клясться иготью Эскулапа[179], что это от простуды.

IV

Strudzilem usta daremnem uzyciem, Teraz je z twemi ohcg stopic ustami, I chce rozmawiac tylko serca biciem, I westchnieniami, i calowaniami, I tak rosniawiac godziny, dni, lata Do konca swiata i po koncu swiata.

[180] Mickewicz

Быстро и сладостно утекают дни счастья. Минувшие радости и будущие надежды сливаются воедино устами, и миг настоящего походит на приветное лобзание друзей на пороге. Вчерась, сегодня, завтра не существует для любовников, – нет для них самого времени, оно превращено в какую-то волшебную грезу, в которой воздушная нить мечтаний вьется с нитью бытия нераздельно, в которой сердце каждое биение свое считает наслаждениями, – о нет! наслаждение не умеет считать, счет изобретен нуждою или тоскою.

Правин любил впервые, Правин любим стал впервые; а какая девственная любовь, какая истинная страсть не робка до простоты, не почтительна до обожания? Но скоро переживает любовник все возрасты страсти. Вечный младенец в своем лепете, в своих прихотях, взысканиях, ссорах, не по годам, а по часам растет он своими желаниями, мужает волею, берет силу взаимностию. Бедняк искатель, он спит и видит, как бы удостоиться приветливого словца, нежного взгляда, самой ничтожной ласки. «Я бы был счастлив тогда!» – говорит он и озирается, не подслушал ли кто его, и трепещет дерзости своего воображения. Но он скоро знакомится, дружится, роднится с нею, скоро она овладевает им – и он горд, похитив первый поцелуй, как Прометей, похитив огонь с неба. Раскипаясь счастьем, словно бокал шампанского (я уверен, что счастье какой-нибудь газ и что химики на днях разложат его), он уходит через край, радость улетучивается из сердца, а природа не любит пустоты, вопреки Паскалю[181] и водяному насосу, – и вот новые желания проникают в ретивое, – закупорьте вы его хоть герметически. Они будто волосатики впиваются в персты, разогревают кровь лучами взора, упоют легкие воздухом, веющим с милой, топят вас в звуках ее голоса, в благоухании ее кудрей! Ночью они распускаются кактусом; днем взбегают будто крес-салат [182]. Проклеваются птичками... тормозят, щиплют, терзают бедное сердце – хоть из груди беги! Опять новые завоевания, опять новые причуды. Повадка балует шалуна; вчерашняя уступка для него завтрашнее право! По мне, сердце – настоящий вестминстерский кабинет[183]: оно умеет и выканючить и выторговать и обыграть и выбить. «Если ты любишь меня!» – говорит любовник, нежно ласкаясь. «Только это, это одно – и я бог!» Но этот бог – языческий; амброзия[184] для него пост; он готов превратиться из орла в лебедя, ив лебедя в бычка. С каждым днем он становится смелее, с каждым днем он обламывает по игле, обороняющей розу, – поглядишь, вянет сама роза под жарким дыханием страсти! Знаете ли, как называю я знаменателя всех страстей и всех более любви? Я называю его –

любопытство! Узнали мы, испытали мы, повладели мы – и уже знание, опыт, власть нам скучны. Мы уж хотим постичь иное, изведать лучшего, завладеть большим. Еще, еще дальше и более – вот границы духа человеческого, а границы эти за звездами Млечного Пути, за тенью могилы.

Но не каждому дано пересекать пути многих страстей, подобно комете, пронзающей многие солнечные системы. Не каждому удастся побыть любовником, поэтом, честолюбцем, корыстолюбцем и лечь в гроб с тою же побрякушкой, которая тешила его первое ребячество. Многие глубоко врезаются в колею, катятся вдоль которой-нибудь одной дороги – и нередко с рождения души до смерти тела. Так, Наполеону выпало распутие власти, на котором первая верста была батарея под Тулоном, а последняя – остров св. Елены. Исполин-выкидыш революционного волкана, он отдал свои останки вулканической скале, горе застывшей лавы. Какой величественный, многомысленный памятник, какой чудный рифм судьбы с вещественностью!.. Багряные облака, точно огневые думы, толпятся вокруг чела твоего, неприступный утес св. Елены... Экватор опирается на твои рамена; сизые волны океана, как столетия, с ропотом расшибаются о твои стопы, и сердце твое – гроб Наполеона, заклеянный таинственным иероглифом рока!!

Простите отступление: я увлекся Наполеоном, и мудрено ль? При жизни – он тащил за своей колесницей по грязи народы. По смерти – его гений уносит наши помыслы в область громов, свою отчизну. Впрочем, пример Наполеона взде кстати; его имя приходится на всякую руку; оно как всезначашее число 666 в Апокалипсисе[185], Как ненасытен был он (олицетворенное властолюбие) к завоеваниям, – почти так же ненасытны все любовники ласками. После первого письма – их перехода через Альпы – они уже вздыхают о лаврах Иены и Маренго [186]... они забывают, что у самого Наполеона была Москва, где он чуть не сгорел, путь за Березину, где он чуть не замерз, и литовские грязи, в которых едва-едва не утонул. Горячая кровь не слишком покорна доктору философии и г-ну рассудку, и речь сердца начинается – обыкновенно – с чистейшего платонизма, а заключение у ней: «индеек малую толику!» К слову стало о платонизме: он очень похож на ледяную гору, с которой стоит раз пуститься – уж не удержишься; или, пожалуй, хоть на ковер, посланный в ноги детей, чтобы им не больно было падать. Да, милостивые государи и милостивейшие государыни, зовите меня как вам угодно, – я зло усмехаюсь, когда слышу молодую особу или молодого человека, рассуждающих о бескорыстной дружбе платонизма, прелестного и невинного как цветок, соединяющий в чашечке своей оба пола. Усмехаюсь точно так же, как слыша игрока, толкующего о своей чести, судью – о безмездии, дипломата – о правах человека. Опять грех сказать, будто платонизм всегда умышленный подыменник[187] эротизма; напротив, его скорей можно назвать граничной ямой, в которую падают неожиданно, чем западней, поставленной с намерением; и вот почему желал бы я шепнуть иной даме: не верьте платонизму – или иному благонамеренному юноше; не доверяйте своему разуму! Платонизм – Калиостро[188], заговорит вас; он вытащит у вас сердце, прежде чем вы успеете мигнуть, подложит вам под голову подушку из пуха софизмов, убаюкает гармонией сфер, и вы уснете будто с маковки; зато проснетесь от жажды угара, с измятым чепчиком и, может быть, с лишним раскаянием. Притом – но неужто вы не заметили, что я шучу, что я хотел только поугаить вас?.. Помилуйте, г. г.1 мне ли, всегдашнему поклоннику этого милого каплуна в нравственном мире, поднять на него руку! Мне ли писать против него, когда я вслух, вполголоса всегда говорил в его пользу, писал ему похвалы стихами и прозой! Любопытные могут прочесть мою статью «Нечто о любви душ»[189]. Она напечатана в «Соревнователе просвещения и благотворения», не помню только в котором году, рядом с речью «О влиянии свирели и барабана на юриспруденцию».

«Но к делу, к делу», – говорят мне; а разве слово не дело? Юридически говоря, между ними великая разница; закон действует положительно, но мы сравниваем относительно. Конечно, человек редко говорит, что думает, еще реже исполняет, что говорит: потому-то нельзя обвинять, ни хвалить его, если он обещает или грозит, – но это относится к будущему;

напротив, прошлое переходит в полное владение слова, оно существует только словом – слово может обличить или оправдать его. Я для того веду свою долгую присказку, чтобы доказать любезным читателям, что слова мои – факты, что намеки мои на госпожу Никто, *Mistriss Nobody* английских фарсов, летели не в бровь, а прямо в глаз; одним почерком, что нрав всех любовников вообще – такой же, как у Правина в особенности: так бывало с другими, так было и с ним.

Да-с, Правина любили нежно, даже страстно; но сам он любил беззаветно, бешено. Правин был зверек, которого не всегда обуздаешь дамскою подвязкой. В одну и ту же минуту он роптал то на холод, то на горячность Веры.

– Не считаете ль вы меня ртутью, княгиня, которая тогда постоянна и ковка, когда заморожена? – говорил он с укором. То умоляющим голосом восклицал: – О, не гляди так на меня, очаровательница! разве хочешь ты, чтоб я истаял как воск под тропическим солнцем!

Целуя браслет, он клялся, что не завидует раю, и через час он клялся, что он самый несчастный из смертных, – зачем? Ему полюбился пояс, заветный еще для его губ; после пояса следовало ожерелье, а там я не знаю, право, что. Близость разлуки извиняла его порывы и восторги, его гнев и самозабвение. Лестно, но страшно было быть так любимой. Жаркие битвы должна была выдержать Вера и с бурным нравом Правина и с собственным сердцем. Каждый отказ стоил ей слез непритворных. Она плакала, и пламя погасало в Правиле от немногих слез милой, как, по народному поверью, гаснет молнией запаленный пожар от парного молока. Она противилась, как порох, смоченный небесною росой, противится искрам огнива: сотни ударов напрасны, но каждый удар сушит зерна пороха, и близок миг, когда он вспыхнет.

Как московская барышня, Вера половину своей юности прожила среди полей, другую – в столице. Но девушки в Москве имеют гораздо более свободы, чем в Петрополе, а где свобода, там и природа. Вот почему девушек находил я гораздо занимательнее в Москве, дам – в Петербурге. В первых найдете вы нередко милую простоту, в последних – остроумие; в первых – прелесть, во вторых – ловкость, которую дает лишь двор и вкус, впрочем, более дитя привычки, нежели чувства; одним словом, в Москве есть гармония, в Петербурге – тон. В Москве учатся многим иностранным языкам и много читают. В Петербурге нет времени ни для науки, ни для чтения, а владыка – язык французский. По-итальянски только поют, о Байроне говорят понаслышке и боятся языка Шиллера, чтобы не изломать своего. Притом же в Петербурге столько гвардейцев и дипломатов, столько чиновников всех цветов, столько парадов, гуляний, спектаклей, визитов, выходов, что будь день о сорока восьми часах – и тогда не стало бы времени на рассеяние. Кроме того, в Москве еще пахнет Русью; в ней хоть немного характеров, зато куча оригиналов, в ней есть свои поверья, свои причуды, свои обычаи – в ней есть старина. Зато уж в Петербурге хоть мало современного, но все новое, все с молотка – и ни русского мира, ни русского словца! На площадях толкутся маймисты[190], на перекрестках стоят синьоры с продажными зонтиками, по набережным покачиваются англичане с руками в карманах и с годдемом[191] в зубах, у крылец шаркают французы, в нижних этажах шевелятся немцы. Русский калач там чужестранец; благословенная борода пробирается по стене и рада, рада, если унесет в целости свои бока от будочника или от дышла какого-нибудь посланника, который скачет разыгрывать во весь дух дипломатическую ноту. Нет дома, где бы садились за стол, крестясь одинаково, где бы хвалили одно и то же кушанье, просили одним и тем же языком напиться. Про высший круг и говорить нечего: там от собачки до хозяина дома, от плиты тротуара до этрусской вазы – все нерусское, и в наречии и в приемах. Бары наши преважно рассуждают, какво Брюно играл Жокрисса, как была одета любовница Ротшильда на последнем рауте в Лондоне; получают телеграфические депеши о привозе свежих устриц, а спросите-ка вы их: чем живет Вологодская губерния? Они скажут: «*Je ne saurais vous le dire au juste, mr.;*[192] у меня нет там помещьев».

Впрочем, нравственность одна в обеих столицах: посредственность и эгоизм! Никто не заботится о том, что подумают о нас добрые люди: у них лишь то на уме, что станет говорить княгиня Марья Алексевна. Во всех личность, все частность, везде расчет. Ничего общего, ничего высокого. Княгиня Вера выросла на таком же миндальном молоке, но она была довольно счастлива, что нашла истинно добрых и умных подруг, и довольно умна сама, что их оценила. Чтение поэтов познакомило ее с прекрасным миром; она пристрастилась к нему, восхищалась им; но эта страсть дала ей другую опасность – опасность мечтательности. Не всех птиц можно стрелять сидячих: иных выгоднее на лету; Вера принадлежала к числу последних. Недоступная ничтожности вертопрахов, несгораемая от мышьяго огня светских болтунов, закруженная вихрем света, в который только что явилась, – она была равнодушна, хотя ее не защищала любовь к человеку доброму, но пустому, но холодному, которому тетушки и судьба приковали ее, как узника к колоде. Чтобы пленить ее, надо было сперва поразить внимание чем-нибудь необыкновенным, раздражить любопытство занимательностию, – а там недалеко и любовь, потому что сердце ее жаждало любви, как сухая губка. Так и случилось. Встреча с человеком безыскусственным, пылким, новым, который так чудно выходил из рам всего, что делается и говорится в свете, победила ее потому именно, что с этой стороны она не ждала нападения, еще меньше падения. Она, однако ж, скоро почувствовала, что любит, и письма ее к подруге стали с той поры скромнее, хотя красноречивее... она говорила обо всем, кроме своего сердца, обо всех, кроме Правина. Да и могла ли замужняя женщина делать из девушки, из невесты поверенную тайн, которых бы сама она не желала иметь? Эта неделимость, это одиночество страсти еще более одолевали Веру. Быстро увлеченная в чужой след, она, однако ж, уступала, борясь мужественно; она чувствовала, что для спокойствия, если не для счастья, к светскому правилу: *sauvez les apparences*[193], необходимо было прибавить: *sauvez la conscience!*[194] И, надеясь на эту решимость, вместо того чтобы вытащить свой челн на берег, она смело простирала свой газовый парус против бурного дыхания страсти, – и вал, грозный вал рассыпался в прах о слабую грудь ее ладьи или, отбитый, с ропотом катился обратно.

Так прошел месяц, но месяц – век для призванной любви. Он век брожения. Думы, желания, требования роятся, кочуют, сменяют, истребляют друг друга. Корабль, будто плавучий ледник, сохранил сердце Правина девственным и в нем силы юности. Они бушевали неудержимо, особенно когда светская философия надевала на себя мундир Границына и пенила и кипятила их своими кислотами.

– Мне кажется, ты воспитан в брюхе кита, – говорил Границын, расстегивая крючки воротника своего. – Вместо того чтобы вторить своей княгине Вере в арии *di tanti palpiti*[195], тебе бы надо уверить ее, что *una voce raso fa*[196][197]. Терпение – прекрасная добродетель в дромадере[198], но сами дромадеры, *mon cher*, нужны в степях, а не на паркете. Правда, многие пояса затянуты гордиевым узлом[199]; зато режь их пополам, если не хочешь, чтоб другой разорвал их у тебя под носом. Право, стыдно будет, если эта белокаменная москочка проведет тебя. Вот тебе моя рука – она над твоею простотою смеется, а быть может, и сама досаждает на твою застенчивость.

Эти насмешки, перемешанные с шампанским, лились прямо в сердце Правиина: они то ЛЬСТИЛИ, ТО подстрекали его страсть. «Нет, – думал он, – полно мне жеманиться. Сегодня или никогда!» И назавтра было то же, напослезавтра то же. Пламенные письма, неистовые сцены, упреки, угрозы, гнев, разлука – все было напрасно: Вера стояла непреклонна. Правии решил.

Любовь хитра на выдумки свиданий: Правин видался по несколько раз в день с княгиней, и все устраивалось будто самым естественным и случайным образом. Однажды он приехал к ней на дачу в полдень.

– Что это значит, капитан, – спросила Вера, – вы в полном мундире?

Любовь есть страсть исключительная: ей нестерпима мысль о множестве или разделе. Вот почему так скоро переходят любовники от местоимения вы к местоимению ты. Со всем тем первые приветствия встречи принадлежат свету; любовь берет свои привычки после.

– Княгиня, – сказал он, холодно поцеловав у ней руку, – я приехал к вам проститься – надолго, может навсегда.

– Вы шутите, капитан, ты меня пугаешь, ЕИе, – зачем это? Разве не тысячу раз уверял ты меня, что воротись на весну и возвратишь весну душе моей!

– Я сейчас от начальника штаба. Узнав, что фрегат мой готов, он был так добр, что позволил выбрать мне любое из двух поручений: или идти ненадолго в Средиземное море, – там что делать? ведь мир с турками почти подписан, – или отправиться на четырехлетнее крейсерство к американским берегам, частью для открытий, частью для покровительства нашей ловле у Ситхи[200], у Алеутских островов и близ крепости Росс[201]. Я избираю последнее!

– Нет! ты этого не сделаешь, ты не сможешь этого сделать! И как решаешься ты, не посоветовавшись со мною? Разве я чужая твоему сердцу! – вскричала, вскочив, вспыльчивая княгиня. – Я бы могла еще помириться с мыслию, что неотразимый приказ службы забросил тебя от меня далеко и надолго; но чтобы ты по своей доброй воле бросил меня на четыре года – нет, этому не бывать, никогда не бывать!

– Никогда не говорите никогда, княгиня! Это слово имеет вес только в устах судьбы. Вы сказали, что я по доброй воле отправлюсь отсюда, – и вы могли это сказать, вы, за чей взор отказался я от собственной воли, для кого жертвовал и обязанностями службы и обетами славы! Вы!.. Для кого ж иного мила мне жизнь? за кого ж красна была б мне смерть? за кого, если не за тебя, отдал бы я душу свою, променял на любовь твою рай и за миг счастья – вечность!! Но вы, ваше сиятельство, не удостоили снизойти до взаимности; вы любили на мерку и раскланивались чувству, когда приходили на границу, делящую удовольствие от опасности; вы в то же время думали, как бы не смять своих газовых лент, когда сердце мое разрывалось, когда я умирал у ног ваших!

– Злой человек, неблагодарный человек! Я ли не ценила тебя, я ль не делила твоей любви! Но я не разделяю твоего безумия. Тебе отдала я чистоту души и покой совести, но чести моей не отдам – она принадлежит другому.

– Как вы искусны в теологии[202] и геральдике[203], ваше сиятельство! Вы до золотника знаете, что весит поцелуй на весах неба и какую тень бросает он на герб. Признаюсь вам, я не постигал никогда градусов любви по Реомюру[204]. Гордостью считал я любить безмерно, беззаветно, предаваться весь – так люблю я, так желал быть любим, так – или несколько. Чувствую, что я теряю рассудок, а вы, вы не хотели бросить вздорного предрассудка!.. Помните ли, я одним письме я писал к вам: не читайте далее или исполните, что далее сказано... Зачем же вы преступили завет и отринули мольбу! Однако не думайте, княгиня, будто я ни во что ставлю ваши ласки, ваш ум, ваши достоинства! О, никто в мире не мог лучше, не мог выше оценить и ваши прелести и вашу снисходительность ко мне. Но любовь питается жертвами, доказывается пожертвованиями, все или ничего – ее девиз, а я измучен вашими полужестокостями, уничтожен вашими полумилостями. Ужели хотите вы, чтобы я забывал вас с другими, лишь бы – не забывался с вами! Признаюсь, это чудесная любовь!

– Боже великий! и я могла любить такого безжалостного человека!

– Любить?., бросимте этот разговор, княгиня. Я уступаю вам пальму нежности. Я беру на себя все вины, я неблагодарен, я жестокосерд, я все, что вам угодно. Будьте счастливы, княгиня! Люди с вашим нравом созданы для светского счастья. Они очень довольны, если на сердце у них пробьются цветки, хоть эти цветки жалкие подснежники. Еще раз – будьте счастливы.

Наслаждайтесь своею любовью «с дозволения правительства»; ожидайте с поклоном прилива нежности своего супруга, за которую обязаны вы будете бутылке бургонского или перигорскому пастету!

– Слезы, а не слова – ответ на такую обидную насмешку!

– Слезы – роса, княгиня. Взойдет солнце, укажет чао ехать на прогулку – и они высохнут!

– Они высохнут раньше, но это будет от отчаяния!

– Отчаяние?., это что-то новое выражение в модном словаре! Нет ли какого перстня или браслета такого имени! Ведь есть же супиры[205], и репантиры, и сувениры у любого золотых дел мастера. Отчаяние!!

Недолго женскую любовь[206] Печалит хладная разлука; Пройдет печаль, настанет скука... Красавица полюбит вновь!

С гордостью подняла княгиня свои заплаканные очи на Правина, и взор ее пронзил его укором.

– Кто так худо знал прошлое, тому напрасно братья за пророчества, – сказала она. – Любуйтесь своим жестокосердием, капитан; хвалитесь своим подвигом, смейтесь над бедным сердцем, которое вы разбили. Да, вы убиваете меня, как Авеля[207], зачем я принесла одни чистые плоды на жертвенник любви!.. Будьте же сестроубийцею за то, что я любила вас как брата!

– Как брата, говорите вы? Но разве братские мученья не требуют братского раздела? Впрочем, я не пришел считаться с вами, княгиня, ни укорять вас, ни умолять вас – я ожидаю одного прощального поклона... ни полслова, ни полвзора более!

Изображают вечность змеей, грызущею свой хвост, – точно так же изобразил бы я гнев... он тоже поглощает сам себя; крайности слиты и в нем. Правин, чрезвычайный во всем, увлекся несправедливым негодованием: оно, подавленное, будто льдом, хладнокровием наружным, тем сильнее крушило сердце – и вдруг заметил он губительную силу слов своих над Верою. Она была бледна, как батист; слезы застыли на лице, но она уже не плакала, не рыдала. Левая рука ее сжата была на колене, между тем как правую упиралась она в грудь свою, будто желая выдавить оттуда удушающий ее вздох; в очах, в устах ее замирал укор небу.

О! злобен тот, кто заставляет свою милую проливать горькие слезы, кто влагает в ее уста ропот на провидение; но тот, кто с усмешкою удовлетворенной мести или равнодушия может их видеть или слышать, – тот чудовище. Правин упал к ногам Веры – плакал, плакал как дитя, и речи раскаяния пролились, смешанные с горячими слезами.

– Вера, прости меня, – говорил он, обнимая ее колена, целуя ее стопы. – Ангел невинности! я оскорбил тебя, я не понимаю, что говорю, не знаю, что делаю! Я безумец! Но не вини моего сердца ни за прежние обиды, ни за теперешние клеветы – у меня доброе сердце, и может ли быть злобно сердце, полное любовью, любовью к тебе!.. Зато у меня буйная кровь... у меня кровь – жидкий пламень: она бичует змеями мое воображение, она палит молниями ум!.. Я ль виноват в этом? я ли создал себя! За каждую каплю твоих слез я бы готов отдать последние песчинки моего бытия, последнюю перлу счастья. Да, нет мне отныне счастья! На одной ветке распустились сердца наши – вместе должны б они цвести; но судьба разрывает, рознит нас! Пускай же океан протечет между нами, пускай бушует – он не зальет моей любви, лишь бы ты, ты, сокровище души моей, была невредима от этого пожара! Я еду, – не говори нет, ангел мой, – не могу я, не должен я остаться. Это необходимо для твоего, для моего спасения, для сохранения моего рассудка и твоей чести... Прощай!.. О! как тяжело разлучаться! Легче, легче расстаться душе с телом, чем душе с душою. И я буду жить не с

тобой, вдали от тебя, не имея вечером надежды увидеться поутру; осужден буду не любоваться твоими очами, не чувствовать на сердце твоего дыхания, не слышать речей твоих, не вкушать поцелуя! и быть одному – и в этом ужасном одиночестве знать, что ты принадлежишь иному!! Скажи: какая мука превысит это, кроме муки при глазах своих видеть тебя в чужих объятиях? Прости ж, прости! Мне суждено бежать тебя всегда и всегда любить безнадежно. Душа моей души! ты была единственной радостью моей жизни; ты останешься единственной моею горестью, всегдашнею мечтою, последнею мыслию при смерти! О, я любил тебя, Вера, много люблю, – взгляни на меня по-прежнему, милая, и прощай – я еду.

Столь быстрый переход от укоров к нежности, от гнева к грустному отчаянию изумил княгиню. Раздирающие душу жалобы любовника ее поколебали, его слезы победили ее. Взор княгини блеснул необычайною ясностию; прелестное лицо ее одушевилось зарею самоотвержения.

– Поезжай хоть на край света, Илья, – сказала она Правину голосом, который звучал сладостно, как весть прощения преступнику на плахе. – Поезжай, – молвила еще, целуя его голову, – но ты поедешь не один: я сама отправлюсь с тобою; с этого часа у нас одна доля, одна судьба. Тебе я жертвую всем, для тебя все перенесу! Лишь бы ты, одеваясь могильною тенью, сказал: «Вера меня любила!» Не спрашивай, как я сделаю, чтобы нам не разлучиться, – любовь научит меня. Требую одного и непременно: иди в Средиземное море, а не в Америку!

Это произошло 17 августа 1829 года, ровно в час за полдень. Так по крайней мере отмечено было красным карандашом в памятной книжке Правилы.

V

L'homme s'épuise par deux acts instinctivement accomplis qui tarissent les sources de son existence. Deux verbes expriment toutes les formes que prennent ces deux causes de la mort: vouloir et pouvoir.[208][209] Balzac

Ровно через десять дней после числа, записанного красными буквами, отличной красоты фрегат снялся с якоря и с южного кронштадтского рейда пошел в открытое море. На корме его рисовалась группа из трех особ: одного стройного флотского штаб-офицера, подле него человека небольшого роста с генеральскими эполетами и прелестной дамы. Фрегат этот назывался «Надежда»; на корме его стояли: капитан Правин, князь Петр *** и его супруга.

Обещание княгини Веры сбылось; да как и не сбылось бы оно? Если женщина решительно захочет чего-нибудь, для нее нет невозможностей. Князь Петр давно проговаривал, что ему хочется попутешествовать для поправления здоровья, – воля жены заставила его решиться, даже убедиться, что для него необходимы макароны в оригинале, устрицы прямо из Адриатического моря. Разумеется, к этому прибавил он несколько восклицаний о чистой радости дышать небом Авзонии[210], прогуляться по Колизею[211], бросить несколько русских гривенников лазаронам Неаполя и на закуску покатиться по Бренте[212] в гондоле, дремля под напев Торкватовых октав[213]! Князь Петр без надписи не отличил бы Караважа от Поль Поттера[214] и не раз покупал чуть не суздальские мазилки за работу Луки Кранаха [215]; но князь Петр, как человек, который хотел слыть ровесником века, или, как выражаются у нас, а la hauteur du siècle[216], скрепя сердце заглядывал иногда в энциклопедию и довольно бегло, хотя очень невпопад, толковал о художествах, о пушках Пексана[217], о паровой машине и примадонне Каменноостровского театра, о сморчках и политике. Вздумано – прошено. Князя Петра не думали удерживать. Напротив, ему дали еще несколько

поручений и позволили ехать до Англии на фрегате «Надежда»; это случилось так невзначай и так кстати!! Князь Петр не знал, откуда у него взялась такая охота к морю! Конечно, сборы князя Петра продолжились бы, вероятно, до заморозков: то нет дичинного бульону, или толченых рябчиков, или сушеных сливок, то не нашли настоящих Piccalilli[218], то не достали вечного Донкинсова супу в жестянках. Зато княгине недолго было уложить свое сердце, а имевши его в груди, влюбленная женщина смело может сказать: «omnia mesura potto – всё с собою ношу!»

– Я готова, мой друг, – ласково сказала она своему раздумчивому супругу, – фрегат не будет ждать нас – завтра мы перебираемся на него непременно.

Такой лаконизм не очень понравился князю Петру, который начинал уж догадываться, что как ни вкусна морская рыба, но она все-таки далее от губ, нежели теленок на рынке; но услышав, как решительно объявила княгиня его повару и камердинеру, что если они не будут во всей готовности к пути сегодня, то завтра следа их не останется в ее доме, проглотил свое но, – и вот он волею, а пуще того неволею – морской путешественник.

Покуда вывертывали якорь, покуда фрегат катился под ветер с парусами, трепещущими будто от нетерпения, сомнение: точно ли мы останемся на фрегате? волновало грудь Веры. Взоры ее перелетали с берегов, словно кружащихся около, на мужа, который с сожалением ловил их глазами. Зато когда фрегат взял ход и стал салютовать крепости, это торжественное прощанье с Россией убедило Веру, что уже возврат на берег невозможен, что она долго и близко будет с Правиным; очи ее засверкали; она взглянула на море, которое развивалось впереди все шире и шире, потом на своего милого – и взор ее сказал: «Перед нами море, море блаженства!» Ни одна печальная мысль, ни малейший страх не возникали между нею и Правиным: чувство счастья казалось ей беспредельным.

Но высоко билось сердце Правина, и не одним наслаждением: какой мужчина покинет родину, не оглянувшись на нее, не вздохнувши по ней, будучи даже подле любимой, особы? Сомнительная дума: увижу ль-то я тебя, и как я тебя увижу? – щемит ретивое, и сквозь слезу тускнеет синева дали.

Грустно смотрел Правин на покинутый берег отечества и с каким-то беспокойным любопытством прислушивался к перекатам ответных выстрелов с Кроншлота. С промежутками, одно за другим, гремели огромные орудия, грозно, таинственно, повелительно! Вы бы сказали: «То голос судьбы, которому вторило небо...» Правин внимал им, будто своему приговору, прочитанному на неведомом для него языке; но непостижимый смысл убегал от понятия человеческого. Наконец седьмой, последний выстрел сверкнул и грянул, как седьмая роковая пуля во Фрейшице[219], и постепенно гром стих. Умолкли и далекие гулы во всех четырех сторонах горизонта. Тогда черные облака дыма, слетевшие с чугунных уст, возникать стали перед очами Правина. Казалось, роковые звуки превратились в иероглифы, подобные надписи, начертанной огненным перстом на стене пиршества для Валтасара[220]!.. Потом иероглифы сии развились чудными, вещими образами, будто переходя из мысли в существование, будто олицетворяя, дополняя собою непонятное изречение. Дунул ветер и спалнул эту величественную строфу, этот дивный очерк судьбы!.. Еще миг, и там, где витал он, весело сияло вечное солнце, бесстрастно катились вечные волны... Тайная грусть влилась в сердце Правина... «Не звук ли, не чудные ли иероглифы, не перелетный ли образ дыма сами-то мы в вечности мира!» – подумал Правин; но он взглянул на Веру, и родина с своими воспоминаниями, море с своими волнами, небо со своим солнцем, будущее со своими страхами – все, все исчезло от Правина; он видел одну ее, существовал только для нее; он был весь наслаждение, весь любовь!..

На три вещи могу я смотреть по целым часам, не замечая их бега. Три вещи для меня ненаглядны: это очи милой, это божие небо и синее море. Велико ли яблоко глаза? но в нем между тем раздольно трем мирам, то есть чувству, мысли и свету видимому. В глазе, как в

яблоке познания добра и зла, таятся семена жизни и смерти. Сладостно созерцать в любимых очах игру света и теней, то есть чувства и мысли; замечать, как распускается и сжимается зрачок, на коем, как на гомеровском щите Ахиллеса[221], рисуется вся природа; следовать, угадывать, ловить искры страсти, пропихивать туман грусти и по складам читать в глубине души понятия, склонности, ненависти; наблюдать, как на милую особу действует мир и как бы она действовала на мир. Это разговор сердец взорами, это гальваническая сплавка душ. Но любопытен и глаз каждого человека: чудный, хотя и неизданный роман таится в нем; каждый взор его есть уже глава, то в роде Жилблаза[222], то в роде Дон-Кихота или Роб-Роя [223]. Как в двухчасном сне переживаем мы иногда целые годы, так в одной клубком свитой мысли, мысли, умирающей в полуродах, мысли, которой весь век четверть мига, заключается и желанье добыть, и готовность на всякое зло, чтоб добыть, и раскаянье за то совести, и страх закона, страх общего мнения, и, наконец, торжество доброго начала, которое стирает эту черную точку даже с памяти. Или, напротив, мысль чистая как слеза сверкает во взоре: помочь несчастному, выручить из беды друга, отдать все, погибнуть за правду, – и вслед за тем сомнение: полно, правда ли это? полно, право ли это? потом отсрочка: еще завтра успеем; потом дать, пожертвовать менее, менее, и, наконец, совет себялюбия: есть люди богаче и сильнее тебя... ты что за выскочка? За этим следует обыкновенно финал самой бездушной скупости:

Ты все пела? Это дело, Так поди же попляши.

И потом, какое быстрое сплетение намерений, выдумок, уловок, приключений: сколько злых замыслов, никогда не свершающихся; сколько слов, которые никогда не будут произнесены; сколько дивных мыслей, которые сольются с ничтожеством! И все это, как сказал я, заключенное в одном миге, в одном взоре, даже в одном сотрясении зрачка. О! кто хочет изучить китайскую грамоту души человеческой, кто желает видеть ее нагою, тот изучай их очи! Но знай тот, что он берется за ремесло могильщика, ибо на каждый день он будет зарывать в прах по лестной мечте, по доброму мнению о людях, что он схоронит, как родных своих, участие к ним и, наконец, собственное сердце... разобьет свой заступ о череп и уйдет в лес с базара – кладбища, которое в просторечии называют свет! Уйдет туда умереть один, отдать труп свой зверям, и птицам, и ветрам, лишь бы не потешить свою кончиною любезных братьев-человеков!!

Но неужели таково все человечество, все люди? Сохрани бог задумать, не только поверить! Поколение наше – бурная, мутная волна, но и в этой волне есть легкая пена, есть чистые капли, есть перлы, вымытые со дна морей. Сколько высоких душ знал я, сколько знаю доселе! Они мирят человека с человечеством, как мирит природа человечество с его судьбою. Поверьте, если не все добро делают, то все добро признают, – а это не безделица.

Люблю я глядеться и в безбрежное небо. Когда пристально и долго смотришь в него, то заметны становятся струйки эфира, прелестно играющие по синеве... это истинная гармоника для очей. Раздольно там, привольно там шириться орлу, реять вечно внешней ласточке, жужжать незаметной мушке, порхать однодневной бабочке! Там странствуют тучи, чреватые перунами, там гуляют облака, играющие отливом радуги. Там живут звезды; оттуда живет нас солнце.

Мирные светила! вы не знаете бурь и смут наших!.. Солнце не бледнеет от злодейств земных; звезды не краснеют кровью, реками текущею по земле. Нет! они совершают пути свои беззаботно и неизменно. Солнце встает так же пышно наутро, хоть, может быть, целое поколение, целый народ исчез с лица земли после его заката, и во мраке по-прежнему распускаются ночные цветы неба – звезды по-прежнему сверкают нам огнем любви и, мнятся, текут в океане благости! Да, созерцая свод неба, мне кажется, грудь моя расширяется, растет, обнимает пространство. Солнца, будто отраженные телескопом на зеркале души, согревают кровь мою; мириады комет и планет движутся во мне; в сердце кипит жизнь беспредельности, в уме совершается вечность! Не умею высказать этого

необъятного чувства, но оно просыпается во мне каждый раз, когда я топлюсь в небе... оно залог бессмертия, оно искра бога! О, я не доискиваюсь тогда, лучше ли называть его Иегова [224], или Dios[225], или Алла[226]? Не спрашиваю с немецкими философами: он ли das immerwährende Nichts или das immerwährende Ailes?[227] – но я его чувствую везде, во всем, и тут – в самом себе. О, тогда весь шар земной кажется мне не больше и не дороже медного гроша. Но жизнь, подобно удаву, наводит на меня свои обаяющие глаза, и я, как жаворонок, падаю в пасть ее с неба!!

И ты, море, бурный друг моей юности! как горячо любил я тебя в старину, как постоянно люблю доньше! Отрок, я играл с твоими всплесками; юноша, я восхищался твоими зеркальными тишинами и грозными бурями с вышины мачты. Праздниками были мне те дни, те недели, которые мог я проводить на палубе, вырвавшись из душной столицы, сбросив свинцовые цепи педантизма. Помню, как, бывало, вахтенный лейтенант, шутя, отдавал мне рупор для поворота и с каким неизъяснимо сладким удовольствием командовал я: «право на борт» и «кливершкот отдай!». Как важно посматривал на вымпел, чтобы вовремя крикнуть: «грот-марса-булень отдай!» С этим магическим словом все реи, с рокотом блоков, переметывались на другую сторону, и корабль, подобно коню, который дрожит от ярости, но покоряется воле всадника, довершал оборот по слову тринадцатилетнего мальчика. Я высоко подымал брови, я гордо смотрел на небо, у которого уловил я ветер, на море, которое пробежал бесстрашно, на фрегат, которым повелевал по прихоти, коим мог повелевать даже по ошибке!.. Я уже постигал это; я чувствовал силу свою.

Море, море! тебе хотел я вверить жизнь мою, посвятить способности. Я бы привольно дышал твоими ураганами; валы твои сбратались бы с моим духом. Твои ветры носили бы меня из края в край, тобою разделяемые и тобою же связанные. Статься может, моя бы молодость проспала, как чайка, на твоих бурунах; статься может, отшельник света в плавучей келье, не знал бы я душевных гроз в заботе от гроз океана... но судьба судила иначе...

Ты не моя, прекрасная стихия, но все еще я люблю тебя, как разлученного со мною брата, как потерянную для себя любовницу! Сколько раз, мучим бессонницею в теплой постели, завидовал я ночам, проведенным на шлюпке, под ливнем осенним, под бурей и страхом, на драицу от смерти. Сколько раз, в противоположность тому, сожалел я, в грязи биваков, о зыбкой койке на кубрике, в которой засыпал, внимая журчанию скользкой вдоль борта воды над самым ухом и повременному оклику вахтенного лейтенанта на рулевых: «Держи вест-зюд-вест!» – «Есть так». – «Полшлага еще!» – «Есть». – «Держи так!» – «Есть так».

И теперь с холодным сердцем не могу я глядеть на зыбкую степь твою, по коей рыщут дружины волн, внимать твоему реву и ропоту; ты говоришь мне родным языком, ты веешь мне стариною. Люблю я мечтать, склоняясь над тобою, и переживать то, чего давно нет; люблю вскачь пускать коня моего вдоль песчаного берега, разбрызгивая твою пену, и любоваться, как волны смывают мгновенный след мой!

Это мое былое и будущее.

Так любовался Правин черными очами Веры, так гляделась она в голубые глаза Правина, глаза, которые чудной игрой природы осенены были черными ресницами, черными бровями и кудрями. Рука с рукой любовались они пенною колеей, взрезанной кормою, колеей, беспрестанно новой и беспрестанно исчезающей. Волны, как друзья, то улыбались им, то хмурились на них и, мерно поражая фрегат, звучали как стихи Пушкина; при солнце рассыпались радужными снопами, при луне – растопленным серебром; в темную ночь сверкали фосфорного пеною: корабль плыл в море света. И бездонное небо, то со своим ночным пологом, вышитым звездами, то с голубым шатром дня, у коего маковкой было солнце, то в бурной ризе из туч, так величаво и таинственно восставало над любящимися, что они безмолвно терялись в созерцании и в разгадывании. Очи, небо и море! море, очи и небо! Какого века было б достаточно, чтоб насытиться вами, наглядеться вами!! Но любовь

дает душе тысячи граней: в них, в одно мгновение, отражается множество предметов, и все различно, все ярко, все блистательно. Так малейшая красота природы, пустая шутка офицеров за чайным столиком, смешная сказка матросов, усевшихся с трубками над лоханью воды у камбуза[228] под баком, страница книги, прочитанной вместе, давали нашим любовникам неистощимый родник споров и разговоров, порождали тысячи новых мыслей.

Правду сказать, им для этого было довольно досуга. Правин уступил гостям все свои каюты, за исключением самой маленькой в стороне. Беспечный супруг скоро привык к корабельной жизни; да и о чем было ему горевать? Повар с ним был отличный, живности вдоволь, следовательно любимое его изящное художество, то есть Plastik des Fließenden (зодчество жидкостей), по выражению немецких мыслителей, шло как нельзя лучше. Потолковав с художником поварни, он целое утро играл в кают-компани с мичманами в шахматы; за обедом подливал Стеллинскому бордо; после обеда отдыхал, а там опять та же история. Между тем как князь Петр живмя жил в кают-компани, между тем как иной шалун, лукаво улыбаясь, замечал, что самая слабая его игра – шах ферязи, капитану Правину припала необыкновенная охота к письменным делам: он беспрестанно сидел за астрономическими выкладками, у коих итоги были едва ль не взоры княгини, и за журналом своих путешествий вокруг обеих гемисфер.[229]

Взгляните на карту: какое раздолье между Тигром и Ефратом[230] приписано было земному раю для первой четы наших праотцев; мы не такие баловни, мы попривыкли к тесноте... Эдем[231] наш уместиться может на одной полосе земли, в четырех стенах кабинета, в скромной каюте, где вам придется жить втроем с любовью и с тридцатишестифутовой пушкой. Если не верите, спросите у Правина и княгини Веры. К счастью ж Правина и княгини Веры, хотя к большой досаде всех его товарищей, бури и противные ветры замедляли их плавание, задерживали в портах, куда необходимо было зайти для освежения припасов и наливки водою. Так все относительно в этом свете. Вождедена молния, когда указывает она потерянную дорогу. Ужасна заря, открывающая осужденному эшафот. Для путника первая блистает, как свеча пиршества; для преступника вторая, как лезвие топора. То, что рождало зевоту и побраики на устах моряков, внушало любовникам сладкие речи и еще сладчайшие поцелуи.

– Не бойся, милочка! – говорил Правин Вере, когда она страстно прижималась к его груди, внимая ударам разъяренных валов в состав фрегата.

– Мне ли бояться их, – возражала она, – когда я знаю, что каждая волна приносит мне лишнюю минуту счастья. Пускай дрожит от них дуб: мое сердце трепещет не от робости.

Оба любовника не выходили из забытья любовной горячки, забытья, оживленного наслаждениями и пламенными мечтами. Правда, минутная ревность злобно терзала сердце Правина, когда князь Петр приближался к Вере со своими насущными ласками, но тогда ее умоляющий взор, но после ее беззаветная преданность награждали его терпение, – и он упокоивался. Чистое сердце – точно волшебная прялка: она выпрядает золото поэзии из самой грубой пеньки вещественности; любовь Правина, Веры была истинна: то была страсть, какой давно не видит и не верит свет. Они блаженствовали.

Я сказал, что противные ветры замедляли путешествие фрегата «Надежды»... без сомнения, любовь в том выигрывала; но едва не теряла в том служба, и очень много. Правин утопил в своей привязанности все другие заботы. Любоваться Верой, когда вместе, думать о ней, когда врозь, стало его любимым занятием. То задумчив, то рассеян, он мало обращал уже внимания на порядок управления парусами, на внутреннее устройство фрегата и команды. Только в бурях, только в опасностях пробуждался он от дремоты, схватывал трубу и грозным словом своим укрощал злобу стихий. Но с бурей утихал он сам и снова падал в досадное равнодушие ко всему, кроме предмета своей страсти.

Нил Павлович сперва лишь качал головою; потом стал пожимать плечами, а наконец без шуток начал журить Правина за его небрежение к службе.

– Я предсказывал тебе, – говорил он не раз, – что, кто начнет кривить против долга честного человека, против связей общества, тот, конечно, не минует забвения обязанностей службы. Полно ребячиться, Илья: твоя связь не доведет тебя до добра; ты можешь в эту игру проиграть здоровье и доброе имя, – кто знает, может быть самую жизнь; а что всего хуже, ты погубишь с собой и княгиню... это прелестное создание, которое стоит лучшего света и чистейшей судьбы. Грешно человеку с душою вербовать ее в дружину падших ангелов.

Правин сперва оправдывался – ссылался на пример других, на силу своей страсти. Потом он отыгрывался шутками, наконец стал молчать и сердиться. Советы друга ему наскучили, выговоры его досаждали ему. Не желание блага, а тщеславие своего превосходства находил он в прямизне Какорина. Его строгость называл он бесчувственностью, его неуклончивость – гордостью. Такова бывает участь всех тех, которые не поважают наших слабостей, которые дают лекарство, не обмазав медом края стакана. Мы терпеть не можем людей, которые угадывают наши тайные помыслы и дают им клички по шерсти; – для нас обидно, когда собственная совесть заговорит чужими устами. Кстати ли послушаться кого-нибудь! Да что я за ребенок? Да я разве не знаю, что делаю? У каждого свой ум-царь в голове! Я не люблю плясать по чужой дудке... Самолюбие засыплет подобными пословицами, как Санхо Панса, уколи его хоть булавкою. Холодность и принуждение разрознили старых друзей. Правин забыл, что с Нилом Павловичем делил он и детские забавы и опасности мужества; что его попечениям обязан был если не жизнью, то здоровьем, ибо, жестоко раненный под Наварином, за что произвели его после в капитан-лейтенанты, он целый месяц не мог двинуться, и Нил Павлович во все время его выздоровления не спал ночей, предупреждая все его желания и нужды, снося его причуды.

О! любовь – эгоистическое растение... Оно скоро разрастается по сердцу и скоро выживает вон все другие чувства!

Между тем, несмотря на бури, несмотря на ветры, несмотря на умышленные замедления ходу от капитана, давно остались позади дебристые острова и гранитные скалы Финляндии, рыцарский Ревель, коего шпицы и башни вонзаются в небо, словно копыта великанов, и другой страж, противопоставивший ему с берега Швеции, – Свеаборг, опоясанный тремя ярусами батарей. Побывав в Копенгагене, пролетев Зунд, оставя Гельсингор за собою, фрегат миновал грозные утесы Дернеуса, крайнего мыса печальной Норвегии, и вошел в Немецкое море. Наконец Норд-форландский маяк, как звезда Венеры, блеснул ночью над зыбями... «Англия!» – радостно закричал матрос с форсалинга; [232] по этот блеск, этот звук зловеще поразили чувство обоих любовников... они сказали им близкую разлуку!

Князя Петра уговорили выйти на берег в Плимуте. Фрегату способнее было там освежиться, чтобы оттолкнуть прямо спуститься в океан. А князю из Плимута до Лондона предстояло любопытное путешествие, избавлявшее его от лишних хлопот нарочно ездить посмотреть Англию и возвращаться обратно. Итак, фрегат неслся по Ла-маншскому каналу, лоя, так сказать, лишь пену видов Англии и Франции. Кале и Дувр мелькнули как сон; скрылся и Спитгид, подобный вдали дикобразу от множества мачт, и Байт – изумрудный перстень Англии. Берега Пертшира бежали, и, наконец, завиднелся Эддистонский маяк [233], истинный геркулесов столб, вонзенный рукою человека в подводную скалу. Величавый памятник воли – не той тиранской воли, которая воздвигла бесполезные пирамиды в бесплодных песках Египта, но воли благотворной, хранительной, которая зажигает для пловцов новые звезды, чтобы они, подобно оку провидения, неусыпно стерегли и блюли от гибели тысячи кораблей. Вправо открылся Плимут, славный своим портом, который защищен недавно великанским волнорезом (breakwater) от бурь океана. Англичане велики в полезном.

Но чудесность этого волнореза, но богатство города, но прелесть окрестностей и новость

предметов не утешали любовников, которым каждый дом, каждый шаг на земле напоминал: вам должно расстаться! И, наконец, час разлуки пробил. И, наконец, должно было сказать: прощайте – слово – задаток терзаний разлуки; слово, которое, как железный гвоздь, вытягивается в бесконечную проволоку, в струну, из которой каждый новев ветра извлекать будет звуки печали. Должно было проститься, и проститься не так, как любовникам, как супругам, на груди друг друга, растворяя горесть слезами, иссушая слезы лобзаниями, – нет! должно было проститься поклоном, при опасном свидетеле, задавить слезу улыбкою, задуть вздохи приветами, желать счастья, нося ад в груди своей. И этот ад всегда удел тех, которые закладывают душу свою за чужое счастье, которые украдкою рвут плоды Эдема. Настоящий владетель снимает с них счастье, как праздничный кафтан с своего раба, и он не смеет молвить слова. Он прячет в сердце и поминку о том, будто краденую вещь; он краснеет благороднейшего чувства, как низкого поступка. Правин не помнил, как он вышел из комнат князя Петра. Он очнулся уже на фрегате, при клике боцмана: «якорь встал!», которому отвечало громкое ура шпилевых[234]. В руке его замерла карточка, всунутая в его руку княгиней Верою при расставанье. Но прежде чем прочесть ее – он прильнул к ней устами.

VI

Sic volo, sic jubeo, – sta pro ratione voluntast[235][236] Iuvenal

Тихо катился фрегат «Надежда» вдоль берегов Девоншира. Колокольни Плимута и лес мачт его гавани вращались в воде. Живописные местечки, цветущие деревни являлись и убежали, точно в стекле косморамы... Даль задергивала предметы своею синевою. Свежестью осеннюю дышала земля; мирно было все в небе и на море; но вдали серые облака заволокли кругом горизонт, широкая зыбь грозно катилась в пролив, и западные склоны ее волн, встающие все круче и круче, предсказывали крепкий ветер с океана.

Вечерело. Нил Павлович, ворча что-то про себя, с заботливым видом поглядывал на туманное небо и на тусклое море, – он стоял на вахте.

– Не прикажете ли, капитан, убрать наши чепчики, то есть брамсели[237], разумею я, а вслед за ними и брам-стенги? – спросил он Правина.

– Прикажете, – отвечал тот равнодушно. – Хоть я не вижу в этом большой нужды; посмотрите-ка: паруса наши чуть не левентих.[238]

– Конечно так, – возразил Нил Павлович, немного уколотый таким замечанием. – Теперь пузо [239] наших парусов как передник десятилетней девочки; зато взгляните, как надуло свое море! Эдакая прожора! эдакой Фальстаф[240] земного шара! Оно готово скушать и нас без перцу и лимонного соку! Прислушайтесь, как стало оно ворчать и разевать пасть свою!.. Нет, погоди ты, морская собака; мы еще не довольно грешны, чтобы познакомиться с твоєю утробою, не исповедавшись на Афонской горе[241]. Не придержать ли, капитан, круче к ветру, чтобы до ночи удалиться от берегов?

– Нет, Нил Павлович, мы спустимся в океан не ранее, как обогнувши мыс Лизард, чтобы, забравшись выше, далеко миновать бурливую Бискайскую бухту. До той поры держаться надо параллельно берегу.

– Чтоб не прижало нас волнением к бурунам... Каменный утес – плохой сосед деревянному боку.

– Кажется, Нил Павлович не перешел еще меридиана жизни, за которым и самую робость величают осторожностью.

– Одной осторожностью больше – одним раскаянием менее, капитан!

– Риск – дело благородное, Нил Павлович! Не с вами ли ходили мы на гнилом решетке между ледяных гор Южного океана, – и боялись ли тогда идти все вперед да вперед? Бывало, сменившись с вахты, чуть заснешь – смотришь, выбросило из койки, а сквозь пазы хоть звезды считай. Что такое? Стукнулись о льдину... течь заливают трюм, качка тронула из гнезда мачту! Да тонем, что ли? «Нет еще», – отвечают сверху. И мы засыпали опять богатырским сном.

– Это правда, капитан: мы засыпали, но это было оттого, что вы не были командиром судна, а я первым лейтенантом, как теперь. На нас не лежал ответ даже за свои души, нам с полгоря было тогда тонуть, не раскрыв даже одеяла, боясь простуды. Теперь иное дело: от нас бог и государь требуют сохранения корабля и людей.

Капитан не слышал окончания этой речи: он уже в глубокой думе стоял на подветренной сетке, устремив свои очи на волпы.

Какое странное действие производят они на воображение тронутого человека. Игра их отражается в нем будто в зеркале. Самые мечты его колышутся, возникают, опадают в нем вещественно и, не образуясь ни во что определенное, сливаются с морем, не оставя по себе следа. Так было и с Правиным. Любовь его была глубока как море, кипуча как море, сердце его было на время оглушено разлукою, и оно очнулось лишь тут; оно пробудилось, как младенец, подкинутый безжалостною матерью к чужим воротам зимою, – и первый звук, из него вырвавшийся, был болезненный крик отчаяния. Нерассветающий мрак, убийственный холод – вот что отныне будет его тюрьмою и пыткой. Люди не сохраняют для него в гостинец ни одной радости. Уединение не даст ни одной светлой мысли. Опустошает, как Тимур-Ленг [242], душу разлука, душу человека, одаренного мыслию и чувством! Он отчуждил ее, он перелил ее в бытие милой, он сплавил свои мысли с ее мыслями, свои чувства с ее чувствами. Как чудные близнецы, сердца их срослись в одно целое, – и вдруг это целое разорвано, разбито, разброшено судьбою. Такой человек теряет вдруг все, потому что он все отдал; он не верит надежде, потому что забрал слишком много у прошлого, потому что он в часах истратил годы счастья. Лишь одно воспоминание вползает в развалины, как змея. О воспоминание! ты льешься тогда горячими слезами из очей, каплешь кровью из сердца. Разлука встает между любящимися, будто ледяная стена, и на ней, словно в волшебном фонаре, изображается в тысяче видах все бывшее. Вторится каждая прелесть, каждое слово неги и нежности! Чародей, она воскрешает ласки, уносившие нас до восторга, утопившие нас в небесном самозабвении, зажигает вновь взоры и поцелуи, и когда на устах разгорается жажда лобзаний, когда кровь пышет, когда сердце рвется слиться с другим в пламени взаимности, – рука, и уста, и сердце встречают лед и мечта тонет в мерзлой реке, подобно голубку, опаленному пожаром. Тогда, о, тогда невольно рождается вера в злое начало, в самовластие Аримана [243], в силу ангела тьмы! Кажется, чувствуешь тогда его мертвящее дыхание, видишь во тьме его злобные очи, внемлешь его адский смех за собою.

Мрачней, все мрачней становилось море, и с ним заодно чернели думы Правина. Грудь его вздымалась тяжело, будто свинцовые валы обливали ее своею тяжестью, будто лежала на ней колоссальная рука судьбы. Он смотрел на полет чаек: они одна по одной отставали от фрегата и с жалобным криком исчезали в туманном небе.

«С вами, – думал он, – улетают мои последние радости, и когда Англия, эта раковина, хранящая жемчужину моей души, исчезнет из глаз моих, не все ли равно, что я схороню ее в океане... Когда случай сведет нас? где могу я встретить ее? А между тем я, бедный скиталец, останусь над бездною один-один!»

Как обыкновенно звучат эти слова! Раскройте словарь, и вы с трудом их отыщете на странице. Как грамматическое орудие, они ничем не отличны от своих собратий; но как выражение мысли, как символ чувства, как след дела – я никогда не могу прочесть или услышать их, чтобы сердце мое не сжалось. Один бог может быть одинок без скуки, ибо в лоне его движется все. Только бог может быть один без сожаления, потому что нет ему равного.

Предвещания, предчувствия теснились в сердце Правина: сильные страсти нас делают суеверными. Но к ним прививалась и ревность, которой не мог отрицать ничей разум.

«Она будет в Лондоне и в Париже, – думал он, – и кто порука, что в вихре рассеянности она не забудет меня! Притом, устоит ли она противу обольщения, вооруженного всеми прелестями дарований, ума, славы, красоты, моды? устоит ли против собственного тщеславия? И я, неопытный, ни разу не дерзнул ей напомнить о верности, связать ее клятвою! О, как бы я желал еще хоть час побыть с нею, услышать ее обет верной, вечной любви, умолить хоть из жалости не изменять мне и, если суждено нам судьбою не видаться более, проститься с ней не равнодушным знакомцем, как это было в Плимуте, но страстным любовником, наедине, слить наши слезы и пламенным поцелуем запечатлеть пламенную любовь!»

Он вынул из кармана последние слова княгини, написанные карандашом на обороте карточки адреса лучшего трактира в местечке... (мы назовем его Ляйт-Боруг), куда собиралась ехать сегодня же княгиня, отдохнуть вдалеке от шуму и пыли, покуда сошьют ей в Плимуте английский костюм. Ей так расхвалили здоровое местоположение и живописные окрестности этого Ляйт-Боруга... ей так необходимо поправить свою слабую грудь после морского путешествия. Князь приедет за нею дня через три, и вместе отправятся в Лондон; и теперь княгиня должна быть уже там, и его фрегат против самого Ляйт-Боруга, и до берегу не более двух миль! Все это пришло вдруг на память Правина. Он несколько раз поворачивал карточку, и каждое слово ее казалось теперь ему чертами света, – они загорались подобно электрическому фейерверку от прикосновения проводника. Недоконченная речь: «Ангел мой, я твоя...» принимала тысячу разных смыслов, и все они сходились к одному: свиданье или смерть! Для чего ж иного она хотела ехать в Ляйт-Боруг? Для чего иного написала свое таинственное посланье на карточке адреса?..

«Свиданье или смерть!» – молвил себе Правин.

– Нил Павлович! – сказал он, быстро обернувшись к лейтенанту, – прикажите спустить с боканцев мою десятку: я еду на берег!

– На берег? вы, капитан, едете на берег? – с изумлением спросил Нил Павлович. – Этого быть не может.

Правин важно посмотрел на лейтенанта.; – Желал бы я знать, почему не может этого быть? – с ирониею возразил он.

– Потому, что не должно, капитан!

– Нил Павлович будет, конечно, так добр, что растолкует, почему это?

– Я думаю, вы лучше всех знаете, капитан, что, глядя на вечер, опасно пускаться в прибой для шлюпки; еще опаснее ложиться в дрейф для фрегата, когда буря на носу. Притом это напрасно замедлит путь.

– Оставьте мне знать, что напрасно и что надобно. Я так хочу – и оно так будет. Прикажите сейчас спустить шлюпку!

Нил Павлович поздно заметил, что он ошибся в расчете, обращаясь к Правину как к начальнику и между тем противоречиво как другу, вместо того чтобы обратиться к другу и уговорить капитана.

– Ты сердисься, Илья? – сказал он, подошедши к нему ближе, – и, право, напрасно. Посмотри на небо и на море: они хмурятся на нас, будто судья на уголовного преступника. Не покидай же фрегата в такую пору: не клади на себя упрека, что ты уехал от опасности!

– Я, я, бегу от опасности? Послушай, Нил... на свете не было другого, кроме тебя, кто бы осмелился мне сказать это; и нет никого, кто бы сказал это дважды. Я довольно жил и служил, чтобы меня не подозревали в трусости!

– Илья, Илья! прочь от меня укор в подобном сомнении. Не отвага, а благоразумие тебе изменяет. Не в трусости, а в безрассудстве станут обвинять тебя, если ты поедешь... Ну, чего боже сохрани, если без тебя что случится!..

– Кажется, Нил Павлович боится ответственности, когда останется старшим.

– Не ответственности, но вреда судну и людям боюсь я. Неплохой я моряк, Илья Петрович, ты знаешь это; зато я сам знаю, что ты моряк лучше меня. Лежать в дрейфе, дожидаясь тебя в бурную ночь вблизи камней, – право, не находка. Друг, Илья! отложи свое намерение, – взяв его за руку, с чувством продолжал Нил Павлович, – волнение развело огромное – видишь, как сильно поддало!

В самом деле, вал расшибся о скулу фрегата и через сетку окропил брызгами обоих друзей. Фрегат вздрогнул, но сердце капитана осталось спокойно, – ему ничто не казалось зловещим. Любовь ослепляет самый опыт и дает какую-то темную веру, что природа может иногда изменять свои законы для любовников. Правин отряхнул брызги и тихо отвел руку Нила Павловича.

– Пустые страхи! – произнес оп. – Еду, хочу ехать!..

– Твоя воля мне закон, но воля, а не прихоть. Не сердись, что я круто говорю тебе правду, я не придворный. Будь муж, Илья! Ты уж и то много потерял во мнении товарищей через свою предосудительную связь; ну да прошлое прошло, бог с ним! Распростились – баста! Нет, так давай еще амуриться. Сам посуди: стоит ли рисковать царским фрегатом и жизнью этих добрых людей, даже собственную славою, Для масляных губок твоей беспутной княгини?

Капитан вспыхнул.

– Прошу вас, г. лейтенант, быть не очень тароватым[244] на осуждение особ, которых вы хорошо не знаете. Вместо того чтобы разбирать поведение вашего капитана, лучше бы вам исполнять его приказания.

– А! – молвил тогда обиженный в свою очередь Нил Павлович, отступая и возвыся голос. – Вам угодно говорить мне как начальник подчиненному? Так позвольте мне, в лице вахтенного лейтенанта, заметить вам, капитан, что вам неприлично отлучаться со вверенного вам фрегата перед бурей, зная, что этим вы подвергнете его неминуемой опасности.

Нил Павлович брызнул маслом на огонь.

– Вы, сударь, не судья мне! Прикажете, сударь, спустить шлюпку, говорю я вам! – вскричал Правин в запальчивости. – Не заставьте меня самого приказывать. Знайте, что если вы меня выведете из терпения, я могу забыть и прежнюю дружбу и долгую службу нашу вместе.

– Мне кажется, капитан, вы уже забываете ее, оставляя свой пост. Я гласно протестую против вашего отъезда и прошу записать мое мнение в журнал.

– Г-н штурман! – гневно воскликнул капитан, – запишите в журнал слова г-на лейтенанта Какорина и прибавьте к этому, что он арестован мною заслушание. Отдайте, милостивый государь, ваш рупор лейтенанту Стрелкину и не выходите из вашей каюты. Шлюпку!

– Пусть нас судит бог и государь! – горестно сказал Нил Павлович, уходя. – Но вспомните мои слова, капитан... вы дорогою ценою купите горькое раскаяние!

Капитан корабля, беспрестанно находясь на службе и вблизи своих офицеров, поневоле облачается недоступностию, чтобы подчиненность не исчезла от частого товарищества. Правин, как и всякий другой, скоро привык к безусловному повиновению, а тут Нил Павлович, не умея взяться за дело, раздражил вдруг и страсть и гордость Правина будто нарочно. Затронутый за живое, он счел обязанностью сделать наперекор своему другу.

Отдав все нужные приказания молодому лейтенанту, Правин спрыгнул в катер. Десять лихих гребцов ударили в весла и скоро, выбравшись на ветер, поставили паруса. Катер покотился с волны на волну, между тем как седая пена забрасывала мгновенный след его, будто ревнуя, что утлая ладья презирает ярость могучей влаги.

VII

И в думе нет, что наслажденье – прах,

Что случая крыло его уносит,

Что каждый маятника взмах

Цветы минутной жизни косит. А. В.

Свечи догорали в комнате княгини Веры, в гостинице Ляйт-Боруга. Било три часа за полночь, и счастливцев Правин вырвался из объятий своей страстной и прекрасной любовницы.

– Возможно ли! – сказал он, – уже близко утро, целая ночь испарилась, как поцелуй!

С диким восклицанием поднялась с дивана княгиня, глаза ее впились в Правина...

– О, не говори мне об утре, не напоминай о разлуке: я не пущу тебя... ты сам не покинешь меня... не правда ли? – продолжала она с ребяческой нежностью, привлекая его на свою грудь. – Мой Илья не будет так жесток – он не предаст меня отчаянию, я не отдам тебя морю!.. Слышишь, как сечет ливень в окна, как завывает буря!..

Правин в половине поцелуя оторвал уста от коралловых уст княгини и заботливо прислушивался к шуму сражающихся стихий. Мысль о шторме, о бедствии, в котором мог быть его фрегат, прожгла его мозг. Страшно было видеть его побледневшее лицо подле томного лица княгини, подернутого прозрачным румянцем неги... Вера была тогда прелестна, как страстное желание поэта, в котором более неба, чем земли; Правин со своими мутными глазами походил на раскаяние, пробужденное страхом.

– Спасите! – вскричал он, наконец, безумно, – фрегат мой тонет... Слышите ль выстрел, еще выстрел, еще?..

Буря будто притихла с усталости... какой-то гул замирал вдали, под скалой зверем ревело

море... но кругом все было тихо, до того тихо, что слышно было падение капель с кровли и бой испуганного сердца княгини.

– Нет, мой бесценный, ты ошибся – то были удары грома. Может ли быть несчастлив кто-нибудь в то время, когда мы так счастливы!

Правин с какою-то неистовою негою упал в объятия Веры.

– Ты моя! Вера моя! Что ж мне нужды до всего остального, – пускай гибнут люди, пускай весь свет разлетится вдребезги! Я подыму тебя над обломками, и последний вздох мой разрешится поцелуем!.. О, как пылки, как жгучи твои уста в эту минуту, очаровательница!.. Знаешь ли, – промолвил он тише, сверкая и вращая очами как опьянелый, – ты должна любить меня, уважать меня, поклоняться мне более чем когда-нибудь... Знаешь ли, что я богаче теперь Ротшильда, самовластнее английского короля, что я облечен в гибельную силу, как судьба? Да, я могу сорить головами людей по своей прихоти и за каждый твой поцелуй платить сотнею жизней – не жизнию врагов, о нет! Это может всякий разбойник. Это слишком обыкновенно... Нет, говорю тебе, я бросаю на ветер жизнь моих любимых товарищей, моих друзей и братьев, а за них во всякое другое время готов бы я источить кровь по капле, изрезать сердце в лоскутки!

Трепеща, внимала княгиня этим несвязным речам, не вполне понимая их.

– Ты меня ужасаешь, милый! – говорила она. – Илья! ты уморишь меня со страха!

– Умереть? кто говорит умереть – вздор! Теперь-то и надо нам жить, потому что одна любовь стоит назваться жизнью; ты сама прелестна как жизнь, Вера! – произнес он, обтекая ее взорами, пожирая лобзаниями, – Ты божественна как смерть, потому что заставляешь забывать все, потому что заключаешь в себе рай и ад. Помнишь ли обет мой отдать тебе и за тебя душу! Вот она! вот она вся... Я не продавал ее по мелочи за ничтожные радости, не променивал ее на золото. Девственну и чисту сохранил я ее до сих пор – и теперь бросаю ее к ногам твоим, как разорванный вексель. Дорого, о, невообразимо дорого ты мне стоишь, милая! но я не раскаиваюсь, я заплачен выше цены.

С каким-то судорожным восторгом он притиснул к своей груди княгиню; та робко отвечала на его ласки. Со своими воздушными формами она казалась с неба похищенною пери на коленях сурового дива[245]; и, наконец, уступая оба неодолимому очарованию страсти, они слились устами, будто выпивая друг из друга жизнь и Душу.

Часы могли бить, петух петь, не возбуждая любовников из упоительного забытья; но они пробудились не сами. Страшный, как труба, пронзающая могилы и рассеивающая лъстивые грезы грешников, раздался над ними голос... Сердца их вздрогнули – перед ними стоял князь Петр***!

..... Она вырвала пистолет из руки Правина и почти без чувств прильнула к его плечу. Он бережно опустил ее на кресла и, потупив очи, но подняв брови, обратился к обиженному супругу.

– Час и место, князь! Я знаю важность моей вины, знаю требования чести...

Физиономия и осанка князя, весьма обыкновенные, одушевились в то время каким-то необычайным благородством. Ничто так не возвышает язык и движения человека, как негодование.

– Требования чести, м. г.? – отвечал он гордо, – и вы говорите мне о чести в спальне моей жены? Вы, которого я принял к себе в дом как друга, которому доверился как брату, и вы обольстили мою жену – эту женщину, хотел я сказать, – запятнали доброе имя, пустили позор

на два семейства, отняли у меня дом и лучшую отраду мою – любовь супруги, вы, сударь, одним словом, похитили честь мою и думаете загладить все это пистолетным выстрелом, прибавя убийство к разврату? Послушайте, г-н Правин: я сам служил моему государю в поле, и служил с честью. Я не трус, м. г., но я не буду с вами стреляться; не буду потому, что нахожу вас недостойным этого. Не буду потому, что не хочу вовсе бесславить ни себя, ни жены моей. Пусть это происшествие умрет между нами, но между мной и ею с этих пор не будет менее ста верст. Чужая любовница не назовется с этих пор моею женою. Мы разъезжаемся, и навек! Она богата – стало быть, найдет и утешенье и утешителей. Это мое неизменное слово, это святая клятва моя. Для света можно сказать, будто мы поссорились за пелеринку, за модное кольцо – за что угодно. Вот все, что я имею сказать вам, только вам, сударь! Эта неблагодарная женщина не услышит от меня ни одного упрека; она не стоит не только сожаления – даже презрения. Я добр, я был слишком добр, но я не из тех добряков, которые терпят добровольно. С вами я надеюсь встречаться как можно реже, с нею – никогда! Я еду в Лондон; я оставляю вас наедине с этою бессовестною женщиною и с вашею совестью и уверен, что вы не будете долго ссориться все трое!

Обиженный супруг закрыл глаза руками, но крупные слезы прокрадывались из-под них... Он медленно отворотился... Он вышел.

Княгиня рыдала без слез, на коленях, склоня голову на подушку дивана. Правин стоял в каком-то онемении, сложа на груди руки; он не мог ничего сказать на отпор князю, потому что внутренний голос обвинял его громче обвинителя; он не мог промолвить никакого утешения княгине, для того что не имел его сам. Эгоизм страсти предстал перед него тогда во всей наготе, в своем зверином безобразии! «Ты, ты, – вопияла в нем совесть, – разбил этот драгоценный сосуд, бросил в огонь эту мирру[246], для того чтоб одну минуту насладиться благоуханием. Ты знал, что в ней заключен был талисман счастья, завет неумолимой судьбы, слава и жизнь твоей милой, знал – и дерзко изломал печать, как ребенок ломает свою игрушку, чтобы заглянуть внутрь ее. Взгляни же теперь на душу Веры, тобою разрушенную, полюбуйся на сердце ее, которое ты вырвал и бросил в добычу раскаянию, на ум, ко —, торый с этих пор будет гнездом черных мыслей, укорительных видений, – и для чего, для кого все это?.. Не лицемерь, не прячься за отговорки: все это было для себя, для собственной забавы; ты не боролся с своею страстью, не бежал от искушения, не принес себя в жертву, – нет, ты, как языческий жрец, зарезал жертву во имя истукана любви – и сам пожрал ее. В какой свет, в какое общество сбросил ты княгиню? Отныне в каждом поклоне будет она видеть обиду, в каждой улыбке – насмешку, в родном поцелуе – лобзанье Иудино[247]; везде будут казаться ей качание головою, и перемигивание, и лукавый шепот; самый невинный разговор будет колоть ее шипами, самую дружескую откровенность вообразит она вызнаваньем, вся жизнь ее будет горечь сомнения, и подавленные вздохи, и слезы, снедаемые сердцем!..»

Да, ужасное похмелье дает нам упоение страстями! Изможденные телом и духом, мы пробуждаемся перед судом для того, чтоб услышать приговор неумытных окюри[248], которые из глубины души произносят страшное guilty – виновен!

Правин отвел очи от княгини. Уже светало, и взоры его сквозь чистое окно упали на беспредельное море. Оно было мрачно и пусто, подобно его душе. Огромные валы, словно стада китов, рыскали и плескались в пространстве, и вдруг между ними мелькнул корабль, – только образы его во мраке и тумане были так неясны, что суеверный моряк сказал бы: «это корабль-привидение, осужденный вечно скитаться по океанам с проклятыми своими пловцами». С тяжким биением сердца, не переводя духу, следил его Правин, но корабль, одетый сумраком, исчезал, и снова обозначался, и снова сливался, как облако с облаками. Буря уменьшилась, но черные тучи ходили еще по небосклону взад и вперед, как победители, которые считают трупы убитых.

Наконец заря облила воздушною кровью и тучи и волны с востока; туманы и сомнения

Правина рассеялись. Замеченное им судно было точно фрегат «Надежда», но в самом бедственном положении, без стеньг, с изломанной фок-мачтой и бушпритом, с искривленными реями. Два или три стакселя[249], поднятые вполовину, казались последними усилиями борьбы с судьбою, влекущей его на скалы. О, велик бы был тот сердцеведец, кто физиологически разложил бы тогдашнее восклицание Правина: «и это!», кто рассказал бы нам едкость отравы, проникнувшей его сердце, или степень мук от угрызения совести!

Лесажев бес снимал кровли, но если б он снял череп о головы Правина и заглянул в ум его, он бы содрогнулся от ужаса и адский даже язык прильнул бы к гортани.

Стиснув рукою чело, как будто от страха, чтобы голову его не расторг вихорь мыслей, с кровавыми пятнами по лицу, с очами, кои, подобно маятнику, ходили от фрегата к княгине, от моря к любовнице, Правин был живой образ казни между двух жертв, между двух преступлений: против нравственности и службы.

Наконец долг победил страсть. Правин горячо поцеловал в лоб княгиню и произнес:

– Вера, прости меня – и прощай!! Нам должно расстаться: фрегат бедствует!

Львицей, у которой уносят последнего детенка, вскочила Вера.

– Бедствует, фрегат твой бедствует!.. И ты, злобный человек, можешь говорить мне об этом, будто я на розах, будто сама я не бедствую! Ты жалеешь дерево, жалеешь чугун и безжалостен к сердцу, тебе отданному, тобой разбитому; бросаешь меня на съеденье отчаянию. Для тебя я забыла все, отдала все, – и ты все это забываешь! Нет! Ты мой, мой навечно: я купила тебя, я выменяла тебя на мое счастье здесь, на рай мой там! Не правда ли, ангел мой! ты мой? Ты не покинешь меня в таком положении: кроме тебя, у меня нет покровителя. За час перед этим я имела имя, отечество, семью, друзей, – ты оборвал с меня все это, как эти цветы; как эти цветы, растоптал ты их пятою! И я не жалею о них, куда ты со мной. Твое сердце мне будет родина, твои объятия – родные, твои речи – подруга мои; ты будешь свет мой, мир мой... О, не покидай же меня, не убивай меня!!

И она нежно обвивала Правина своими прозрачными руками; и она обольстительно шептала ему несвязные речи. Но мужчина может забыться – не забыть беды, его окружающие, и в то время, когда женщина множит любовь своими жертвованиями, своим несчастьем, когда она в целом мире не думает ни о чем, кроме любви, мужчина самую жестокостью бед возбуждается из душевного расслабления – он уже ищет, как бы поправить дело.

– Душа моя, душа моей души, прошлое не возвратно, но подумай о будущем!.. Его еще можно заставить служить нам. Я съезжу на фрегат, чтоб пособить повреждениям и не допустить до крушения. Ты теперь свободна – ты можешь ехать куда хочешь, – спеши в Италию! Там я встречу тебя в каком-нибудь приморском городе, в одном или в каждом из портов Средиземного моря. Позволь же мне отлучиться: это необходимо для спасения обломков моей чести, для спасения, может быть, пятисот моих товарищей. Честное слово тебе даю, что завтра вечером я буду в твоих объятиях... Посмотри, буря утихает!..

Долго и пристально смотрела княгиня в глаза Правина.

– Ты меня не обманываешь, – с тяжким вздохом сказала она, – но разве не может обмануть нас судьба!.. О, не ездь, мой милый... мне что-то говорит, что мы не свидимся более... по крайней мере не говори мне прощай! – мне ненавистно это слово. В твои руки, Илья, отдаю я свое сердце, – примолвила она, залившись слезами, – в руку бога поручаю твое.

Она упала на колени перед окном, будто умоляя свирепое море пощадить ее друга; потом очи ее слились с небом – она молилась, горячо молилась; и кто бы не сказал, видя это прелестное лицо, дышащее чистою верою, орошенное слезами умиления, что ангел молит

небеса о спасении грешника. Она обратилась к Правину. с улыбкою грусти, с простертыми устами, чтобы встретить его прощальное лобзание, проводила его взорами и упала без чувства на холодный пол гостиницы.

– Ребята! – крикнул капитан своим гребцам, лежащим подле вытасченной на берег шлюпки, – мне непременно должно быть на фрегате, – если умирать, так умирать вместе с товарищами! Едем!

– Рады стараться! – закричали в один голос удалые гребцы. Они привыкли каждое желание капитана считать святым, каждое слово правдивым и разом сдержали десятку на воду.

Но не так легко было выбраться из бухты. Шумные буруны ходили стенами и отбрасывали назад катер. Четыре раза, разгребая в упор, силились гребцы переметнуться за спорный вал – и четыре раза, черпая носом воду, уступали ярости удара. Утроив силы, улучив способный миг, удалось, наконец, им выбраться в море, но море еще кипело и бушевало, раскачанное ночью бурей. Валы сливались в огромную зыбь: вставали и падали неправильными рядами и, взбрасывая катер как щепку, грозили залить или поглотить его. Ветер бил на берег, и потому пришлось идти на гребле. Волнение выбивало из уключин весла, два человека беспрестанно отливали воду: в катер поддавало со всех сторон.

На руле сидел заслуженный урядник, который свыкся с бурями и опасностями как с лишнею чаркою водки, для которого, по собственному его выражению, море было масленица, а девятый вал – милее девятого блина. Он прехладнокровно глядел то на свой нос, то на нос катера, наблюдая, чтобы он не рыскал. Казалось, все, что совершалось кругом его, было ему совершенно чуждо. Всегдашний спутник поездок капитанских, он уже ознакомился с его нравом и знал, когда можно было молвить ему словцо-другое.

– Смее спросить, Илья Петрович, – сказал он капитану вполголоса, – сны иногда бывают, то есть, от бога?

– Случается, – отвечал рассеянно Правин.

– Я чай, что от бога, ваше высокоблагородие! Да и как залезть лукавому в христианскую голову, когда на ночь перекрестишь лоб. Я вчерась, то есть, кажись, положил крест даже на изголовье; с крестом, изволите видеть, ваше высокоблагородие, мягко спать и на камне, а все-таки привиделся мне чудный сон... Грянь, други, грянь – проводи дальше весла!.. И такой сон, то есть, что ума-разума не приложу разгадать его... Ну, девятый прокатился! Виделось мне, будто у нас на «Надежде» смотр не смотр, праздник не праздник, только народу кишмя кишит: генералов, адмиралов, штабства – видимо-невидимо. И все словно наяву пьют и закусывают; только все молчок; такая тишь, что муху бы услышал. И вот, то есть, будто кто-то крикнул: «Смирно!» Команда наша выстроилась на шканцах, глядим, гости потянулись мимо нас, а сами заглядывают в глаза. И шли будто, шли – конца не видать. Вдруг, то есть, откуда пи возьмись, и ваше высокоблагородие – в полном мундире, только через плечо вместо ленты красный флаг: не ведь гюйс[250], не ведь какой сигнальный. А идете будто вы под ручку с какой-то барынею – лицо открыто, а лица не видать!.. Ну, други, ну, навались! что зазевались на зайчиков! И вот остановились будто вы, Илья Петрович, как теперь гляжу, передо мною. «Выйди вперед, Гребнев! – сказали мне и положили руку на мое плечо, да и молвите барыне: – Я и его беру с собою, он довольно послужил, надо успокоить его старые кости!» То есть, видно, в отставку выйдете, да и меня, старика, в дворецкие возьмете, – буду я себе в ту пору посвистывать в ключ вместо этого свистка. Ну, да не о том речь, в. в – е! Глядь будто я на себя, да так и сгорел – на мне вместо куртки белая рубашка! Просыпаюсь, а сердце будто вырваться хочет, – насилу открестился. Что бы это значило, в. в.?

Правин невольно впал в глубокую думу. Смутная мысль о смерти пала на душу впервые, и в этот раз она ничего не имела в себе отрадного. Умереть, утонуть, не помирившись с

совестью добрыми делами, не выкупив у прошлого проступков своих блестящими поступками!.. Он вспомнил, что тонкая дощечка отделяла его от влажной могилы, – и содрогнулся он и обозрелся кругом: море крутилось страшно; фрегат был близок, но зыбь валяла его с боку на бок так сильно, что медная обшивка обнажалась до киля, сверкая будто броня великана; потом вал снова закрывал корпус, так что чуть виднелись снизу марсы. Полкабельтова, не больше, оставалось до борта, но борт был опаснее всякой скалы: прибой расшибался, воя, о ребра его и широкими всплесками грозил каждый миг валить и опрокинуть катер.

– Молись, Гребнев, Николаю Угоднику, – сказал капитан, ударив урядника по плечу, – молись: матросские молитвы до неба доходны. Если мы счастливо пристанем к борту, ты будешь нянчить внуков моих.

– Крюк! – закричал урядник; с борту кричали: «Лови, лови!» Роковая минута настала. Глаз капитана не обманулся в степени опасности: соп Гребнева упал в РУку...

VIII

К ночи того же дня ветер совершенно стих, море опало. Оно едва-едва дышало будто от усталости и что-то шептало, засыпая. Обломанный фрегат «Надежду» прибуksировали ближе к берегу, и он лежал уже на якоре. Работы на нем кипели; скрип блоков, треканье и удары мушкелей[251] раздавались повсюду. Ставили запасный рей вместо потерянной мачты, переменяли стеньги, такелаж; починивали изломанные сетки. Помпы хрипели, будто больной; палубы изображали прекрасный отрывок хаоса. Везде царствовала суeta, но в ней не было души: матросы работали без песен, без сказок; тихо перемолвливались и печально качали головою; видно было, что свершилось какое-то важное несчастье.

– Что, нет надежды? – спросил один мичман лекаря Стеллинского, который вылезал из-под сукна, коим отделялся лазарет от палубы.

– Никакой, – отвечал тот, – лекарства ему так же бесполезны теперь, как трубка табаку. Пусть подшкипер снимает с него мерку на саван.

– Жаль! Гребнев был лихой урядник. Ну, а из вчерашних, ушибленных сорвавшимся реем?

– Двое будут живы; остальные ж трое отправятся сквозь порт туда же, куда слетели семеро сверху.

– Худо, очень худо! Десять жертв с фрегата и шесть с капитанского катера – это не безделица! У меня душа замерла, когда со всего размаху ударился катер в борт, – только щепки брызнули! Одного гребца в моих глазах размозжило о руслени; другого прищемило днищем и расплющило как пуговицу. Ну, да это все не беда, лишь бы жив остался наш капитан; вы давЕю проводывали его, Стеллинский?

– С полчаса назад; он потерял много крови, – проклятый гвоздь с изломанной доски шлюпки глубоко вонзился ему менаду ребрами; я насилу мог остановить кровотечение. Однако теперь горячка стихла, и он вообще больше болен духом, чем телом: affection mentale[252]. Он, видите, нервного сложения: на него крепко подействовало повреждение фрегата и гибель людей. Если бы нам, медикам, случалось приходить в отчаяние от ошибок, так пришлось бы задавиться турникетом[253] после первого дежурства в клинике.

– Слава богу, доктор, что добрые люди не вдруг привыкают к чужой гибели, притом, кроме

худой славы перед своими и англичанами, не мудрено, что капитан наш поплатится за свою прогулку эполетами.

– Неужели ж его отдадут под суд за мачту?..

– Да, Стеллинский! Не дай бог попасться под военный суд: это хуже вашего консилиума, – и между тем это вероятно. Государь, правда, лично знает Правина и после наваринского дела сам назначил его командиром фрегата; начальство уважает его, но сами вы знаете, что служба ни шутить, ни лицеприятничать не любит.

– Да, да! это будет невозвратная потеря для флота!

– Впрочем, делайте вы свое дело, а мы, офицеры, обработаем свое. Разве нельзя три четверти вины пустить на ветер? С бурями так же, как с вашими болезнями, все шито да крыто.

– Дай бог, дай бог!

Лекарь вошел в капитанскую каюту.

Кто бы узнал в этом бледном, изможденном страданиями теле вчерашнего Правина, цветущего здоровьем, кипящего надеждою? Расшибленная голова его была обвязана полотенцем, лицо мерцало могильною белизною, зрачки не двигались в глазах, охваченных синим кругом, – они лишь расширялись и сжимались повременно. Подперши левою рукою голову, правой держал он за руку Нила Павловича, который сидел у него на кровати и с ним разговаривал. У обоих остатки слез дрожали на щеках.

– Нилушка! не оправдывай меня; отлив крови – прилив рассудка: я вижу теперь, что во всем виноват сам, – один я буду в ответе. Останься я на фрегате – все бы шло хорошо. Не арестуй я тебя, мы не потеряли бы ни одного лисель-спирта[254]. Не вини Стрельникова; он молодой офицер, он новичок-лейтенант, и если спустился под шквалом на фордевинд[255], не убравшись даже с ундерзейлями[256], – это оттого, что он никогда не бывал в подобных обстоятельствах...

– Впрочем, – сказал ласково Нил Павлович, – все зависит от того, в каком виде представим дело начальству.

– Неужели ты думаешь, друг мой, что я стану лгать в извинение? Ни в чем, никогда! Завтра же рапортую о несчастном случае императору и адмиралтейству – и все, как было, все без утайки. Ты простил меня, – может статься, накажет слегка и начальство; но могу ли я простить самому себе – успокоить совесть за смерть людей!

– Грот-марса-рей[257] сорвался случайно. Второпях, в потемках один урядник отдал топенант [258] вместо грот-стенг-стаксель-фала, и люди полетели долой. Это могло случиться и при тебе.

– Я уверен, что ни при мне, ни при тебе не было бы суматохи, не было бы и торопливости... А гребцы мои, а?.. – Правип вздернул одеяло на лицо и несколько минут безмолвствовал. Только содрогание одеяла доказывало, что он под властью ужасного чувства. Наконец, он открылся, – Нил, тебе известно все, – сказал он, – были проступки и в прежней жизни моей, но я бы отдал смерти половину дней, назначенных мне жить, и посвятил бы остальную на благодарность богу, если б можно было вычеркнуть из бытия последние двадцать четыре часа...

– И я, я преступник, – вскричал он, помолчав с минуту и потом подымаясь на ложе, – я, который играл царскою доверенностию, который обольстил, погубил любимую женщину,

обидел друга, запятнал русский флот, утопил шестнадцать человек, для насыщения своей прихоти, – и я-то думаю жить! Нет! Я не переживу ни своей чести, ни своей души; я не хочу, я не должен существовать. Море взлелеяло меня, море дало мне свои бурные страсти – пускай же море и поглотит их: только в бездне его найду я покой! Если суждены мне муки за гробом, то пусть мучусь вне тела, без сердца, одной душою!.. Это уж выигрыш!.. Смерть, ты улыбаешься мне, как Вера... Приди, приди!

Он страшно восклицал, он жадно простирал руки к какому-то незримому предмету, он был в исступлении.

– Горячка снова им овладела, – сказал на ухо Нилу Павловичу лекарь, – надо употребить утишающие средства, и завтра же будет *mens sana in corpore sano*. [259]

Он заботливо уложил больного.

Нил Павлович вышел наверх отдохнуть от сильных впечатлений. Солнце садилось. Били вечернюю зорю; оба флага скатились тихо, тихо долой; ночь ниспадала прозрачна и мирна, но все было мутно в возмущенной душе доброго моряка. Участь друга свинцом налегла на сердце.

«Дорогою ценой платите вы, баловни природы, за свой ум, за свои тонкие чувства! – подумал он. – Высоки ваши наслаждения, зато как остры, как разнообразны ваши страдания!! У вас сердце – телескоп, увеличивающий все до гигантского размера. О, кто бы, глядя на Правина, не пожелал быть глупцом, всегда довольным собою, или бесчувственным камнем, ничего не терпящим от других!»

В полночь Нил Павлович потихоньку вошел в каюту капитана... На столе подле постели лежало недоконченное письмо; казалось, Правин недавно писал – чернила еще блестели на пере, на бумаге не засохли две капли крови, упавшей, вероятно, с оцарапанного лица. Сам он спокойно лежал, закрывшись весь одеялом. Рука друга подняла покров, заботливый взор его упал на лицо больного: он, казалось, спал глубоким сном. Румянец играл на щеках, по выражение бровей было болезненно; страдание смыкало уста.

«Он и во сне страждет», – сказал про себя Нил Павлович и на цыпочках вышел вон.

– Слава богу, капитану лучше, – сказал он матросам, которые с участием толпились у дверей каюты... и они рассеялись, и по палубам пролетала шепотом отрадная весть: капитану лучше.

Ему в самом деле было лучше.

IX

С минуты разлуки княгиня не отходила от окна. Солнце село, солнце взошло, солнце перекатилось за полдень – она все сидела с тоскою в сердце, с зрительною трубою в руке, она все глядела на фрегат, в коем, не для игры слов, заключалась вся ее надежда. Она видела, как на нем исправлялось, очищалось, приходило в порядок все. Долгое наблюдение сквозь телескоп производит не только в глазу, но и в воображении какое-то странное чувство. Отдаленность с своею немою, но живою игрой людей и предметов, кажется, будто принадлежит иному свету. Смотришь на них как на тени, хочешь угадать их речи, их думы, их заботы по движениям, – внимаешь очами, и любопытство растет до горячего участия.

Часу в пятом вечера княгиня заметила необыкновенное, но стройное движение на фрегате.

Матросы унижали борт корабля; что-то красное мелькнуло с борта в воду, и вслед за тем сверкнул огонь из пушки, из другой, из третьей... Гул раздался долго после!.. Потом флаг, который до сих пор спущен был до половины и перевязан узлом, упал – и в тот же миг поднялся до места распущенный... И потом звук исчез в пространстве, дым улетел к небу и все приняло прежний вид.

Это непостижимое для Веры явление мелькнуло в стекле трубки, будто в неясном, худо запомненном сне. Княгиня протерла стекло, но все задернулось туманом в очах ее, и с них брызнули слезы. «Это от усталости!» – молвила она и в думе опустила голову на руку. Невольная дрожь пробежала по ее телу, «Какой холодный ветер!» – подумала она и закуталась шалью... Наконец неизъяснимая тоска сжала ей грудь... Она с горестию сказала: «Видно, он не приедет и сегодня!» Но в голосе ее слышалась обманутая, хотя еще и не разрушенная надежда – какая-то слепая доверчивость ребенка к палачу. О, эти простые слова привели бы в трепет каждого, кто угадывал истину. Сегодня? Но вечерет ли день замогильный? рассветает ли ночь мертвецов?

И княгиня погрузилась в долгое тяжелое забытие; забытие без чувств и мыслей; забытие, в котором, как в Мертвом море, нет ни зыби, ни прилива, ни отлива, не витают рыбы, не перелетают через птицы... все иссушено, все задушено!! Словом, забытие, которое потому только не могло назваться смертью, что оно хранило муку.

Место и время исчезли для княгини. Било одиннадцать часов ночи, когда звук мужских шагов в коридоре гостиницы пробудил ее из гробовой дремоты. Первая мысль, первый крик ее был: «Это он!», и она стремглав бросилась к дверям. Тусклый ночник едва мерцал в радужном кружке, будто глаз какого-то злого духа, но Вера ясно расслушала его походку, она узнала шотландский плащ Правила, – если не слухом и не взором, то сердцем угадала она желанного гостя, – она прыгнула к нему навстречу и с радостным ах! упала на грудь пришельца.

Тесно смежны в сердце женщины восторг и отчаяние, смех и слезы, смежны, как две стороны червонца. Лезвие мысли их не делит; сомнение не простирает своей плены между. Княгиня в восхищении сжимала в своих объятиях пришельца.

– Княгиня! – произнес незнакомый голос, – вы ошиблись. Я не Правин, я только посол его!

Нил Павлович подал письмо княгине.

Княгиня отпрянула от него, как будто коснулась змия.

– А Правин? Он не хотел приехать? – вскричала она с укором. – Он обманул меня... Да кому теперь можно верить, когда и самое сердце мое меня обмануло. Скажите ж скорее, жив ли, здоров ли мой Илья? Где он? Когда он приедет сюда?

Нил Павлович безмолвствовал.

Глаза Веры засверкали, как острия кинжалов.

– Я понимаю вас, г. лейтенант, – гневно произнесла она, – вы отговорили, вы не пустили его: вы всегда были против нашей любви. Ваше имя не раз отрывало Правина от моей груди... Он мрачно озирается, слыша вашу походку. Вы, это вы отняли его у меня... Но куда вы девали вашего друга, куда схоронили вы моего Илью? Отвечайте же, сударь! – вскричала она, безумно схватив его за грудь.

– Несчастливая женщина! вам самим повторю я вопрос ваш – что вы сделали с Правиним? Куда, куда вы схоронили его?

– Он умер? – спросила княгиня, леденея от ужаса.

– Пусть отвечают бездны моря! Бедный друг мой изошел кровью... но прежде крови он пролил по вас горькие слезы, – он в письме завещал мне утешить вас; но могу ли дать то, чего не имею сам, – я не бог. Он один может утолить слезами горесть и совесть, – примолвил тише Нил Павлович, в котором потеря друга превозмогла все прочие чувства. – Прощайте, княгиня, дай вам боже забвения – это единственное счастье несчастных!

Он исчез.

С трепетом открыла Вера письмо, начертанное почти во мраке смерти хладящею рукою полумертвеца... Мы не прочтем его... Язык жизни не выразит тайн могильных – тайн, которые уносит умирающий в прах; тайн, которые истлевают сердце, как чума своим прикосновением.

Плач и жалобы – дары неба! вами откупается несчастный от половины страданий, от пытки, его терзающей. Но горе тому, для чьей тоски нет слезинки в очах, нет в устах рыдания, нет в сердце вздоха. Горе тому, в чьей душе потонут все думы, все, кроме одной вечной, неумолимой думы об одиночестве – думы о судьбе своей... думы, которая шепчет: «ты, как ястреб Прометея, будешь век терзать свое сердце!».

Это ужасно!

Заключение

(Выписка из «Северной пчелы» 1831 года, августа месяца)

Кронштадт... августа. Вчера пришел на здешний рейд из Средиземного моря фрегат «Надежда», под командою флота капитан-лейтенанта Какорина. Красота корабля, отличный порядок, на нем господствующий, здоровый и бодрый вид людей обратили на себя внимание и начальства и всех посетителей фрегата.

31 августа 1832 года в Петербурге было открытие Александрийского театра. В семь часов вечера зала была уже полна. Партер, половина которого сходилась к ломам амфитеатром, алел, как заря, красными мундирами, отворотами, лентами; блистал, как еще не потухший запад звездами. Пять поясов лож пестрелись женскими уборами; иной бы сказал: «то живые цветочные вязи, окропленные росой алмазов» – так ярки, так блестящи были они; и между них веяли и склонялись перья над прелестными личиками, словно крылья херувимов. Тысячи свеч горели букетами по раззолоченным стенам и поручням лож; сливались в ослепительный метеор люстры. Гордо и легко смыкался потолок своими радужными облаками. Боги Олимпа с завистью смотрели на роскошь земную с высоты живописного неба. Богини, краснея от досады, чуть не прятались друг за друга, видя, что красота русских дам пересияла их. Старый грешник, Юпитер, заметив, что он одет не по вкусу времени, сердито косился на свою бороду: казалось, хотел сбрить ее и для последнего превращения облечься в гусарский доломан[260]. Три грации морщились на петербургских красавиц, будто хлебнули амброзии, которая скислась; девять сестриц Парнаса[261], которые весьма поустарели со времен Гомера, ревниво смотрели на своих женихов, рассыпающихся жемчугом перед светскими вдохновительницами. Даже сова Минервы[262] завистливо таращила глаза. Только посланница любви, Ирида[263], весело расправляла свои голубиные крылышки да пролаз Меркурий лукаво заглядывал в ложи, будто дожидаясь письмеца. Вулкан[264] же, глядя по головке сына своей жены[265] с самодовольным видом немецкого барона, считал мужей, рисующихся по стенам для тепи картины, и напевал песенку:

Нашего полку прибыло, прибыло!

Между тем передний занавес, бледный как туман германской поэзии, таинственно колебался между зрителями и сценою, будто занавес судьбы, скрывающий от нас даль грядущего. И все было прелесть, свет и очарование! Самый воздух был упоен благовониями и дышал нею вздохов. Он оживлялся от малейшего трепетания райских птичек, отдыхавших на головах красавиц, от волнения газа на грудях, от сладостного ропота их уст, от пылких взоров, летающих, крестящихся, словно падающие звезды, от звуков, возникающих порою из оркестра – звуков неясных, смешанных, чудных как мысли поэта впросонках... одним словом, вся зала Александрийского театра и все, что в ней было, походило тогда на какой-то великолепный, волшебный сон юноши под жарким небом юга. Сердце плавало в обаятельной розовой атмосфере и в блестящем рассеянии забывало все, что творится за стенами... О, поверьте мне: светская жизнь имеет свою поэзию – зато как дорога и как редка она!

Царской фамилии еще не было, – все жужжало и колебалось в роскошном ожидании, в томлении нетерпеливости. В это время в третьем ряду кресел два человека учтиво пробирались на свои места, платясь извинениями за каждый переход через чужие ноги и поклонами за то, что протирались мимо чужих грудей. Наконец они, положив шляпы на кресла свои, вздохнули и обозрелись свободно. Один был молодой человек, в вицмундире иностранной коллегии, очень приятной наружности и окружности – система округления в лицах. Сложив накрест руки, он равнодушно оперся спиною о спинку кресел второго ряда и, едва отвечая на дальние кивания своих знакомцев, беззаботно взглядывал на ложи сквозь очки (очки есть необходимое условие дипломата, хотя не решено до сих пор, носят ли они их для того, чтоб лучше видеть глазами, или для того, чтоб меньше видели их глаза). Другой был юноша во всем цвете этого слова: жив, румян, весел, разговорчив; он был так доволен своими красными отворотами, так счастлив блеском, его окружающим, будто майская бабочка в ясный день. Он простодушно глазел на все и на всех и смеялся от чистого сердца эпиграммам своего модного соседа; смеялся с откровенностию истинно армейскою. В самом деле, несмотря на четверугольный лорнет, который он довольно ловко наводил направо и налево, легко угадать было можно, что он недавно переведен из армии. Любопытным вопросам его не было конца. Кто это в мальтийском мундире[266]? Кто эта дама в оранжевой шали? Дипломат едва успевал вернуть при каждом имени острое словцо.

И вот, когда перебрали они всех посланников и вельмож, всех красавиц и знатных дам, с шумом распахнулась дверь в одной ложе, и в нее вошли дамы блистательной красоты и наряда отличного вкуса. Будто не замечая ропота и взоров одобрения, кипящих вокруг и под ногами их, они сбросили свои шали и, поправляя газовые рукава, обратились к вошедшему за ними кавалеру с замечанием, что коридоры театра необыкновенно тесны, Кавалер этот был генерал пожилых лет, кубической фигуры, со звездами на обеих грудях и с улыбками на обеих щеках. Он отвечал что-то, склоняясь между их без чинов.

– Ах, Жозеф! – с жаром сказал дипломату наш юноша, – скажи скорей, кто эта прелестная особа по правую руку в малиновом токе[267]? Глаза ее сыпят алмазные искры, губки раскрылись улыбкою, будто жемчужная раковина от солнечного луча... около нее как сияние, – она богиня радости!.. Имя, имя ее?

– Как, mon cher, ты разгорелся! – отвечал дипломат. – Изволь, однако, я потешу тебя: ее имя Софья Ленович – моя жена.

Жалко было видеть бедного юношу: он смутился! он не знал, из какого кармана выискать отговорку. Ленович с самодовольным видом забавлялся его смущением и шутливо продолжал:

– Да-с, это моя жена; но ты, дружок, не будешь ее поэтом. Нет, нет, стара штука. Полгода еще милости просим жаловать ко мне когда угодно: полгода ты будешь безопасен, – но потом,

милый, сердись не сердись, а я тебе за твой восторг едва ли не прочту:

Vous etes un brave garcon, un homme honnete, – mais Remarquez bien ma porte pour n'y entrer jamais![268]

Эта шутка была сказана так по-дружески, что мой юноша ободрился. Желая сгладить прежние похвалы, он стал горячо хвалить другую даму, подругу жены Леновича.

– Но соседка твоей Софьи, Жозеф, прелестна как сама задумчивость, – посмотри: каждый взор ее черных глаз блестит грустью, будто слеза; каждое дыхание вырывается вздохом; и как нежно ластятся черные кудри к ее томному лицу, с какою таинственностью обвивает дымка ее воздушные формы.

– Не на варшавском ли приступе[269], mon cher, набрался ты этого романтического дыму? Изруби же его поскорее в стихи; поставь внизу прапорщицкую звездочку, отошли в «Молву» [270] и будь уверен, что если ты спрыснешь свою новинку полдюжиной шампанского, приятели прокричат тебя поэтом.

– Ты можешь шутить как хочешь, но верь, что черты этой красавицы так врезались в мою память, что я завтра же нарисую ее портрет – и всякий, кто лишь раз видел ее, увидев его, скажет: «это она!» Но кто ж она?

– Заметил ли ты генерала, сидящего за моею Софьею? Это мой дальний родственник, князь Петр ***, а черноглазая дама – его жена.

– Княгиня Вера! – вскричал гвардеец с такою шумною радостью, что на него оборотились многие лорнеты. – Княгиня Вера, которая целый год увлекала все сердца и все мысли Петербурга. Вера, любимая мечта моего брата! Воротясь в двадцать девятом году отсюда, он прожужжал мне про нее уши... И наконец-то удалось мне увидеть это прекрасное создание!

– Прекрасное недолговечно на земле, – сказал со вздохом Ленович. – Эта черноглазая дама – вторая жена князя Петра, а Вера, ангел доброты и прелести, Вера, которой обязан я своим счастьем, умерла в Англии. Когда-нибудь я расскажу тебе ее печальную историю!

На глазах у Леновича, сколько ни дипломат был он, навернулись слезы... Гвардеец молчал в грустном раздумье. Но загремела музыка, занавес взвился – и судьба Веры была забыта.

Забыта? О, я готов пожать руку у того или поцеловать у той, кто назовет эту летопись сердца скучною сказкою, кто будет зевать при ее чтении, кто забудет прочтенную половину и бросит в огонь недочитанную. Забвение ждет всех, забвение безвредно. Но, может быть, какой-нибудь бездушный ловелас[271] выдавит сладкую отраву из любви Правина и Веры, перескажет неопытности лишь то, что льстит его намерениям. Может быть, он прочтет эту тетрадь в уединенном кабинете прекрасной даме, которой доселе он говорил: «люблю вас» только взорами. И румянец страсти загорится на щеках его, и голос его задрожит будто волнением души, и послушная слеза сверкнет на ресницах... Он подстержет вздох грусти, слезу сожаления – сожаления, предтечи любви, – и упадет к ногам своей тронутой любовницы.

– О, будьте для меня Верою за то, что я обожаю вас, как Правин!.. – воскликнет он.

– Вы забыли участь их?.. – возразит она.

– У всякого своя участь... Нас ждет доля блаженства, непрерывного, неисчерпаемого блаженства! Но если б меня ждала судьба еще горше Правиной, я приемлю ее за миг счастья, – о, если б вы знали, как я люблю вас!

И его слушают, ему почти верят!

При этой мысли я готов изломать перо свое!

Но существует ли в мире хоть одна вещь, не говоря о слове, о мысли, о чувствах, в которой бы зло не было смешано с добром? Пчела высасывает мед из белладонны[272], а человек вываривает из нее яд. Вино оживляет тело трезвого и убивает даже душу пьяницы. Тацит [273], учитель добродетели, был виной изобретения нойяд[274][275] в ужасы революции. Бросим же смешную идею исправлять словами людей! Это забота провидения. Мы призваны сказать: так было, – пусть время извлечет из этого злое и доброе. Приморский житель ужасается вечером, видя гибель корабля, а наутро собирает останки кораблекрушения, строит из них утлую ладью, сколачивает ее костями братии – и припеваючи пускается в бурное море.

Примечания

1

Фрегат «Надежда». Впервые – в «Сыне отечества и Северном архиве», 1833, ЛЬЛ 9 – 17, за подписью: Александр Марлинский, с пометой: 1832. Дагестан.

2

Бухарина Екатерина Ивановна – жена полковника Бухарина, коменданта Тифлиса, в доме которого бывали А. Бестужев и другие ссыльные декабристы в 1829—1830 гг.

3

Отаитянка – жительница острова Таити (Полинезия).

4

Моя дорогая (фр.)

5

Петергофский праздник. – В Петергофе ежегодно проводился традиционный

праздник-маскарад (1 и 21 июля по ст. стилю).

6

Водомер (поэт., устар.) – фонтан.

7

Сирены – в греческой мифологии девы, пением завлекавшие моряков в опасные места.

8

Фома неверующий. – Имеется в виду один из евангельских апостолов, который долго не верил в воскресение Христа; здесь: человек, с трудом верящий во что-нибудь.

9

Мой друг (фр.)

10

...учтивые рыбы Марлийского пруда... – Марли – дворец в Петергофе (Петродворце), построен в 1721—1723 гг.; в прудах около дворца разводили рыбу.

11

...Сампсон, раздирающий льва... – Имеется в виду один из петергофских фонтанов.

12

В Петергофе есть беседка в виде гриба, которая неожиданно обливает водой. (Примеч. автора.)

13

Милый человек (фр.)

14

..юфтью Буаста?.. – Юфть – особый сорт мягкой кожи производства заводчика Буаста.

15

Так вот, Софья (фр.)

16

С удовольствием, сударь (фр.)

17

Вы любите танцы? (фр.)

18

Это настоящий фейерверк (искусственный огонь) (фр.)

19

Я вижу много искусственности, но где же огонь? (фр.)

20

Боже милостивый (фр.)

21

..роль ростральной колонны... – Ростра – украшение колонн в виде носовой части древнего военного судна.

22

...коробочка Пандоры... – то же, что «ящик Пандоры». См. коммент, к с. 82 тома I.

23

..к камням Монплезира... – Монплезир (ф р.) – дворец Петра I, сооруженный в Петергофе в 1714—1725 гг.

24

Итак, начинаю (фр)

25

...лавры под Наварином. – В Наваринской бухте 8 (20) октября 1827 г. произошло морское сражение между флотом Турции и Египта, с одной стороны, и флотом России, Англии и Франции, – с другой. Сражение закончилось победой последних, в нем отличились будущие герои обороны Севастополя: П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, В. И. Истомин.

26

Флаг контр-адмирала – белый флаг с синим Андреевским крестом. Его поднимали всегда, когда на корабле присутствовал контр-адмирал.

27

Природа, как говорит Шекспир, могла бы указать на него пальцем и сказать: вот человек! – слова Аптонио о Бруте из трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (1599).

28

Эволюция – здесь: маневрирование находящихся в строю кораблей.

29

Дек – закрытая палуба судна.

30

С такую приправую можно съесть родного отца. (Примеч. автора.)

31

В самую глубь преисподней. (Примеч. автора.)

32

Шутиха – род фейерверка.

33

...император поднял свой штандарт. – Императорский штандарт – особый флаг с изображением Балтийского, Белого, Каспийского и Черного морей. Его подъем означал пребывание императора на корабле.

34

Вероятно, с бизан-русленей. Между вантпоутингсов нередко прорезываются порты. (Примеч. автора.)

35

Эпиграф взят из романа «Последние письма Якопо Ортиса» (1798, письмо от 20 ноября) итальянского писателя Никколо Уго Фосколо (1778—1827).

36

И потому, когда я вижу, как люди, в силу какого-то зова, ищут несчастий с фонарем в руках и как они стремятся в поте лица своего и в горести уготовить себе самые мучительные и вечные из них, — я готов пустить по ветру мои мозги, из боязни, как бы и в меня не перешло в конце концов подобное искушение. Уго Фосколо (ит.)

37

Флогистон Хининович — шутовское прозвище: флогистон — название летучего вещества, по мнению химиков XVIII века, выделяющегося при горении.

38

О, здоровое безумие! (лат.)

39

..Ганеманновы выжидающие средства... — гомеопатические лекарства, названные по имени основателя гомеопатии немецкого врача Самуэля Ганемана (Ханемана; 1755—1843).

40

Так и есть (лат.)

41

Зеленчак – крепкий нюхательный табак, приготовляемый из зеленых листьев.

42

Туника – у древних римлян – белая нижняя одежда; здесь: кожный покров.

43

Авиценна – Ибн-Сина Абу-Али (ок. 980 – 1037 гг.) – выдающийся ученый-энциклопедист восточного средневековья, автор известного труда по медицине «Канон врачебной науки» и по философии – «Книга исцеления».

44

Аверроэс Ибн-Рошд (Рушд; 1126—1198) – арабский философ, естествоиспытатель, автор многих работ по философии и медицине.

45

Парацельс Филипп (1493—1541) – немецкий врач и естествоиспытатель, введший в практику новые химические препараты.

46

Бургав Герман (1668—1738) – голландский химик, ботаник и врач, введший в практику новые лекарства.

47

Шпанские мухи (мушки) – пластырь из порошка, приготовленного из высушенного жучка.

48

Вессикаторий (фр.) – вытяжной пластырь.

49

Синапизм (фр.) – горчичник.

50

Френизия (фр.) – воспаление мозга, помешательство.

51

Цефальгия (фр.) – головная боль.

52

Spleen, сплин (англ.) – тоска, уныние, хандра.

53

Тавлинка – плоская табакерка из бересты.

54

Люгер (логгер; нем.) – небольшое двух – или трехпарусное судно.

55

Грот-марс-фал. – Грот-марс – полукруглая площадка на палубе корабля в месте соединения мачты со стеньгой; фал – снасти для подъема рей, парусов, флагов.

56

Химическая горлянка. – Горлянка – тыква, по форме сходная с бутылкой; здесь: бутылка с химическим веществом.

57

Гарвей (Харви) Уильям (1578—1657) – английский врач, физиолог и эмбриолог, автор «Анатомического исследования о движении сердца и крови у животных» (1628).

58

Крейсиг Фридрих (1770—1839) – немецкий врач, автор книги «Болезни сердца» (3 ч., 1814—1817).

59

Часослов – книга, содержащая тексты некоторых церковных служб.

60

Их называют иначе *sauvetage-dogs*... В Англии близ каждого опасного места лежит их множество; они, видя разбитое судно, кидаются в воду и вытаскивают утопающих; также пригоняют к берегу тюки и бочки. (Примеч. автора.)

61

Снасть для сдержки паруса. (Примеч. автора.)

62

Кольцо желобком. (Примеч. автора.)

63

Закрепка. (Примеч. автора.)

64

Снасть сбоку паруса, удерживающая более в нем ветра. (Примеч. автора.)

65

..бурливее мыса Горна... – мыс на острове Горн (к югу от Огненной Земли), около которого сильные ветры задерживают движение кораблей из Атлантического океана в Тихий.

66

Пелагея Фарафонтъевна – гадалка, известная в Петербурге в в 20-х годах XIX века.

67

Водяной шильник – болотное или растущее по берегам рек растение, используемое в народной медицине.

68

Все мачты, все дерево выше палубы. (Примеч. автора.)

69

Клянусь самим дьяволом! (ит.)

70

Собака-блок – в морской терминологии один из блоков для поднятия парусов, около которого матросы часто получали увечья.

71

...нашего знаменитого корнеискателя... – Речь идет об этимологических увлечениях А. С. Шишкова (1754—1841), автора «Рассуждения о старом и новом слоге русского языка» (1803).

72

Тацит с якорем. (Примеч. автора.)

73

Снасти, коими поддерживаются и обращаются реи. (Примеч. автора.)

74

Поворот. (Примеч. автора.)

75

На морском языке есть значит: да, исполнено. (Примеч. автора.)

76

Плехт – один из больших якорей;
даглист немного менее. (Примеч. автора.)

77

На два якоря. (Примеч. автора.)

78

Даглист (даглиск) – левый становой якорь.

79

В кольца сложенные снасти. (Примеч. автора.)

80

Кран-балка – механизм для подъема и передвижения тяжестей, брусков.

81

Веревка, на которой висит якорь. (Примеч. автора.)

82

Цепь, поддерживающая якорь в горизонтальном положении. (Примеч. автора.)

83

Бриг «Фальк» погиб оттого, что якорь долго висел вертикально и, качаясь, прошиб лапою скулу судна. (Примеч. автора.)

84

Места, где лежат ядра. (Примеч. автора.)

85

Ставни амбразур. (Примеч. автора.)

86

Греч Николай Иванович (1787—1867) – реакционный русский журналист и писатель, издатель журнала «Сын отечества» с 1812 по 1839 г. См. коммент. к статье «Взгляд на старую и новую словесность в России».

87

Самые верхние части мачт. (Примеч. автора.)

88

При опросе: есть ли офицер? – с шлюпки, когда в ней командир судна, отвечают именем судна. Бак – нос судна. (Примеч. автора.)

89

Лестницы веревочные у передней мачты. (Примеч. автора.)

90

Отправляя гребное судно на берег, условливаются взаимно о числе и месте фонарей, чтобы ночью можно было опознать и найти друг друга. (Примеч. автора.)

91

Веревки для всходящих на лестницу (трап) корабля. (Примеч. автора.)

92

Снасти у руля, снаружи висящие. (Примеч. автора.)

93

Вервь, на которую вяжут шлюпки за кормою. (Примеч. автора.)

94

Носовая основа. (Примеч. автора.)

95

Из бухты вон! – Бухта – снасти, сложенные в кольца; здесь: команда, подаваемая перед отдачей якоря.

96

Снасти, коими канат прикрепляется к кольцам (рымам), вбитым в палубу. Стопор происходит от англ. глагола to stop – останавливать. (Примеч. автора.)

97

Устой для крепления канатов. (Примеч. автора.)

98

Палки, которыми вращают ворот. (Примеч. автора.)

99

Низ. (Примеч. автора.)

100

Камоэнс Луис (1524—1580) – португальский поэт, автор эпической поэмы «Лузиады» (1572), описывающей путешествие Васко да Гамы.

101

Шкаф, в котором хранится компас. (Примеч. автора.)

102

То есть высмолены, от английского слова tare – смола. Тируют только стоячий такелаж. (Примеч. автора.)

103

Скрепя. (Примеч. автора.)

104

Свеаборг – бывшая крепость в Финляндии, лежащая на островах у входа в гавань Хельсинки.

105

Конгревовы ракеты. – См. коммент. к с. 92 тома I.

106

Розовая вода; она в большом употреблении в Азии. Это арабские слова: гюль – роза и аб – вода, су (тоже вода) прибавляют азиатцы из невежества. У нас ее звали гуляф. Я гуляфпою водою белы руки мою! (Песня времен Елизаветы) (Примеч. автора.)

107

..льдины... какие видел Парри в Баффиновом заливе. – Парри Уильям (1790—1855) – английский исследователь полярных стран. Баффинов залив (Баффиново море) – залив между Гренландией и Баффиновой землей (Атлантический океан), названной в честь английского исследователя полярных стран Уильяма Баффина (1584—1622).

108

Суровый славянин – выражение, взятое из стихотворения Пушкина «К Овидию» (1821).

109

Он чванится своим умом, этот морской лев (фр.)

110

Да, он им чванится! (фр.)

111

Но на этот раз он не такой болван, каким кажется (фр.)

112

Если вам удобно, сударь, мы проведем наше состязание в уме и красноречии завтра после десяти часов. Представляю вам избрать тот язык, который вам нравится, – включая сюда язык железа и свинца. Вы, надеюсь, позволите мне доставить себе удовольствие сказать вам на пяти европейских языках, что вы наглец? (фр.)

113

Тайного разговора (фр)

114

Граммон Теодуль де (1765—1841) – маркиз, французский политический деятель; как депутат законодательного собрания защищал конституционные принципы.

115

В дуэлях классик и педант... – выражение из романа Пушкина «Евгений Онегин».

116

Бертольд Шварц – францисканский монах; по преданию изобрел порох в начале XIV века.

117

Лепаж – знаменитый французский оружейный мастер начала XIX в.

118

Брейд-вымпел – флаг командира корабля.

119

Паруса, сбоку других поднимаемые. (Примеч. автора.)

120

..с Мельтоновым Эмпиреем... – Имеются в виду эпизоды из поэмы английского поэта Дж. Мильтона (1608—1674) «Потерянный рай» (1667).

121

Сплошной звон колокола, обыкновенно в полдень. (Примеч. автора.)

122

То есть сбоку. (Примеч. автора.)

123

Эпиграф взят из трагедии В. Шекспира «Гамлет» (1601).

124

Ничтожество – имя твое, женщина! Шекспир (англ.)

125

Рогаль – маленькая булочка, имеющая форму рога; здесь: хлеб насущный.

126

Ювенал Децим Юний (ок. 60 – ок. 127 гг.) – римский поэт-сатирик.

127

«Не заслоняй солнца, не отнимай того, чего дать не можешь». – По преданию, древнегреческий философ Диоген попросил Александра Македонского, предложившего исполнить любое его желание, только одного – не заслонять ему солнца.

128

Платон (427—347 гг. до н. э.) – древнегреческий философ-идеалист.

129

«Per me si va nella citta dolente!» – из «Божественной комедии» (1307—1321) Данте Алигьери («Ад», песнь III, 1).

130

Через меня лежит путь в город страданий (ит.)

131

...за квакерское пожатие руки. – Квакеры – христианская протестантская секта, возникшая в Англии в середине XVII в. и распространившаяся в США. Высшим выражением веры квакеры считали добродетель.

132

За Балкан, за Саганлуг! за Варну, за Ахалцых! – Имеются в виду места сражений русских войск во время русско-турецкой войны 1828—1829 гг. на Балканах и на Кавказе.

133

За скрытую причину каждой войны (лат.)

134

Охотник я и до женщин, – простите мне эту глупость (англ.)

135

Любовь дамам, честь храбрым (фр.)

136

Сенковский Иосиф (Сенковский Осип (Юлиан) Иванович; 1800—1858) – русский ученый-востоковед и писатель; с 1834 г. издатель журнала «Библиотека для чтения»; автор повестей, выступал под псевдонимом «Барон Брамбеус».

137

Бог дал! – заздравное восклицание мусульман. (Примеч. автора.)

138

Милый друг (ит.)

139

Дорогой мой (фр.)

140

Пинетти – физик, демонстрировавший в Петербурге в конце XVIII – начале XIX в. различные опыты.

141

Мой друг! (фр.)

142

Адмирал Ной – ироническое название героя библейского мифа Ноя, построившего ковчег во время всемирного потопа.

143

Сервент (фр.) – слуга.

144

...хромоногий бес не снимает кровли с ее будуара... – Имеется в виду роман французского писателя А. Лесажа (1668—1747) «Хромой бес» (1707). Его герой – бес Асмодей – поднимал крыши домов, чтобы увидеть частную жизнь их обитателей.

145

Проснись, спящая красавица (фр.)

146

Модистка (фр.)

147

Выродки брения и огня. Гете. (Пер. автора.)

148

Макиавель и Купидон – заклятые враги друг друга. – Макиавелли Никколо ди Бернардо (1469—1527) – итальянский политический деятель и писатель, автор книги «Государь» (1532), в которой оправдываются любые методы в борьбе за власть. Купидон – в древнеримской мифологии бог любви.

149

Буало Никола (Депрео Никола; 1636—1711) – французский поэт, теоретик классицизма.

150

Лукреция – римлянка, жена Тарквиния Коллатина, ставшая жертвой насилия со стороны сына древнеримского царя Тарквиния Гордого (VI в. до н. э.), в результате чего покончила жизнь самоубийством. Образ Лукреции стал символом чистоты и верности.

151

...трех пар стройных ножек... – неточная цитата из романа Пушкина «Евгений Онегин».

152

Как вы поживаете? (фр.)

153

..раскрашенных снегов... – выражение из поэмы Байрона «Дон Жуан», а не из «Паломничества Чайльд Гарольда».

154

This famed capital of painted snows. «Childe Harold's pilgrimage» «Паломничество Чайльд Гарольда» (англ.). (Примеч. автора.)

155

Глаголь – старинное название буквы «г»; здесь: здание, построенное в форме буквы «г».

156

Задняя мачта. (Примеч. автора.)

157

Наклонная, из носа выдающаяся мачта. (Примеч. автора.)

158

Поручни. (Примеч. автора.)

159

Миловзор – условный персонаж сентиментальных произведений.

160

Два любящих сердца подобны двум магнитам: то, что движется в одном, должно также приводить в движение и другое, ибо в обоих действует только одно – сила, которая их пронизывает. Гете (нем.)

161

Фумигация – окуривание.

162

Бертовский пароход – пароходы, построенные на машиностроительном заводе Карла Берда (ум. в 1864 г.) в Петербурге и курсировавшие в основном между Петербургом и Кронштадтом.

163

Средобежная – центробежная.

164

Монумент Петра Великого. – Речь идет о памятнике Петру I скульптора Фальконе (1716—1791), открытом в Петербурге на Сенатской площади в 1782 г.

165

...дремучие болота Рюисдаля... – Якоб ван Рейсдаль (1628—1682) – голландский живописец, график и один из крупнейших пейзажистов XVII в.

166

Фан-дер-Неер (Ван дер Неер; 1603—1677) – голландский живописец-пейзажист.

167

Фан-Остада. – Остаде – семья голландских пейзажистов.

168

Лесюер Эсташ (1617—1655) – французский художник, писавший картины на исторические, религиозные и мифологические темы. Здесь речь идет о его картине «Смерть св. Стефана».

169

Пуссен Никола (1594—1665) – французский живописец, крупнейший представитель классицизма в искусстве XVII в.

170

Мурильо Бартоломе Эстебан (1618—1682) – испанский живописец.

171

...сельский праздник манил к себе... – Имеется в виду картина Теньера «Сельский праздник».

172

Сальватор (Сольватор) Роза (1615—1673) – итальянский живописец-офортист, прославившийся изображением суровой природы Аbruццы (средней части Италии).

173

Вернет (Берне). – См. коммент. к с. 87 тома I.

174

Урбино – то есть Рафаэль.

175

В комнатах, заключающих в себе музей Жозефины... – Французская императрица Мария-Роза-Жозефина, первая жена Наполеона I, устроила в окрестностях Версаля, в замке Мальмезон, музей, состоящий из произведений искусств, вывезенных Наполеоном из захваченных им стран. В 1815 г. она подарила Александру I тридцать восемь картин и четыре скульптуры Аптонио Кановы. Залы в Эрмитаже, где их поместили, назывались Мальмезон; Марлинский называет их музеем Жозефины.

176

Скопас – известный древнегреческий скульптор и архитектор (IV в. до н. э.), представитель поздней классики. Многочисленные его работы известны по римским копиям.

177

«Одних уж нет, другие странствуют далече!» – выражение из поэмы персидского писателя и мыслителя Саади Ширази «Бустан» (1257).

178

Канова Антонио (1757—1822) – итальянский скульптор-классицист.

179

..иготью Эскулапа – то есть авторитетом врача. Эпиграф взят из стихотворения А. Мицкевича «Rozmowa» («Разговор», 1825).

180

Я измучил уста тщетным переживанием, Теперь хочу их слить с твоими устами И хочу говорить лишь биением сердца, И вздохами, и поцелуями. И говорить так часы, дни и годы, До конца мира и после конца мира.

Мицкевич (пол.)

181

Паскаль Блез (1623—1662) – французский религиозный философ, писатель, математик и физик.

182

Крес (кресс) – салат – овощное однолетнее растение из семейства крестоцветных; листья употребляются в пищу как салат.

183

Вестминстерский кабинет. – Вестминстер – часть Лондона, где находится здание английского парламента; здесь имеется в виду английский кабинет министров.

184

Амброзия – в древнегреческой мифологии ароматная пища богов, дававшая им вечную юность и красоту.

185

..всезначащее число 666 в Апокалипсисе. – См. коммент, к. с. 428 тома I.

186

Иена и Маренго. – Иена – город в Германии, под стенами которого французские войска в 1806 г. разбили прусские войска. Маренго – деревня в Северной Италии, около которой в 1800 г. французские войска одержали победу над австрийской армией.

187

Под чужим именем торгующий. Слово, употребительное между купцами, (Примеч. автора.)

188

Калиостро – имя авантюриста Джузеппе Бальзамо (1743—1794).

189

...статью «Нечто о любви душ». – Видимо, это шутка Бестужева – такой статьи в «Соревнователе просвещения и благотворения» нет.

190

Маймисты – финны (от финск. маа – земля, mies – муж).

191

Годдем (англ. God damn) – проклятье, ругательство. Брюно (Брюне Жан-Жозеф; 1766—1851) – актер французской труппы в Петербурге.

192

Не скажу вам точно, сударь (фр.)

193

Сохраняйте благопристойность (фр.)

194

Сохраняйте совесть (фр.)

195

Какой трепет (ит.)

196

Одного голоса еще мало (ит.)

197

Вместо того, чтобы вторить.. в арии *di tanti palpiti*, тебе бы надо уверить ее, что *una voce poco fa...* – слова из арии Розины в опере итальянского композитора Россини (1792—1868) «Севильский цирюльник» (1816).

198

Дромадер (дромадар) – одногорбый верблюд.

199

...пояса затянуты гордиевым узлом... – См. коммент. к с. 418 тома I.

200

Ситха – остров на северо-западе Северной Америки.

201

Крепость Росс – русское поселение в Калифорнии, основанное в 1812 г. Российско-Американской компанией.

202

Теология – богословие, церковное учение.

203

Геральдика – составление, истолкование и изучение гербов.

204

Реомюр Рене-Антуан (1683—1757) – французский естествоиспытатель, изобретатель спиртового термометра (1730).

205

Супир – подаренное на память колечко, надеваемое на мизинец.

206

«Недолго женскую любовь...» – стихи из поэмы Пушкина «Кавказский пленник» (1821). Третья строка читается так: «Пройдет любовь, настанет скука...»

207

Авель – по библейской легенде, второй сын Адама и Евы, «пастырь овец»; убит своим старшим братом Каином за то, что бог предпочел принять жертвоприношение Авеля.

208

Эпиграф взят из первой главы романа французского писателя Оноре Бальзака (1799—1850) «Шагреновая кожа» (1831).

209

Человек истощает себя двумя действиями, выполняемыми инстинктивно, которые иссушают источники его существования. Два глагола выражают формы, в которые выливаются эти две причины смерти: желать и мочь. Бальзак (фр.)

210

Авзония – поэтическое название Италии.

211

Колизей – амфитеатр, памятник древнеримской архитектуры (75—80 гг. до н. э.).

212

Брента – река на севере Италии.

213

...дремля под напев Торкватовых октав! – Тассо Торквато (1544—1595) – итальянский поэт, ренессансная лирика которого воспевала природу и любовь.

214

...не отличил бы Караважа от Поль Поттера... – Караваджо Микеланджело Меризи да (1573—1610) – итальянский живописец, основоположник реалистического направления в европейской живописи XVII в. Поттер Поль (Поттер Паулюс; 1625—1654) – голландский живописец и офортист, изображавший природу, жанровые сценки.

215

Кранах Лука (Кранах Лукас Старший; 1472—1553) – немецкий живописец и график.

216

На уровне века (фр.)

217

...о пушках Пексана... – Пексан Генрих-Жозеф (1783—1854) – французский генерал, пушки которого, стрелявшие разрывными снарядами и названные бомбовыми, были приняты на вооружение в 1830 г.

218

Острые пикули (англ.)

219

..седьмая роковая пуля во Фрейшице... – По немецкому преданию, фрейшиц – вольный стрелок, находился в союзе с чертом. Каждая седьмая его пуля направлялась чертом. «Фрейшиц» – «Волшебный стрелок», опера немецкого композитора К. Вебера (1786—1826).

220

...надписи, начертанной огненным перстом на стене пиршества для Валтасара!.. – Валтасар – сын последнего вавилонского царя. Войска персидского царя Кира, овладев Вавилоном, убили Валтасара (539 г. до н. э.). В библейской книге пророка Даниила описывался пир Валтасара («Валтасаров пир») и содержалось пророчество о его гибели.

221

...на гомеровском щите Ахиллеса... – Щит Ахиллеса описан Гомером в XVIII песне «Илиады».

222

Жилблаз (Жиль Блас) – герой романа А. – Р. Лесажа «История Жиль Блаза из Сантьяны» (1715—1735).

223

Роб-Рой – герой одноименного романа (1818) Вальтера Скотта.

224

Иегова – искаженная форма имени бога Яхве в иудейской религии.

225

Бог (исп.)

226

Алла (аллах) – бог в мусульманской религии.

227

Вечно длящееся Ничто или вечно длящееся Все (нем.)

228

У печи. (Примеч. автора.)

229

Гемисфера – полушарие.

230

...раздолье между Тигром и Ефратом... – Тигр и Ефрат – реки в Ираке, в междуречье которых, по иудаистской и христианской мифологии, был рай для первых людей рода человеческого – Адама и Евы.

231

Эдем – по библейской легенде, земной рай; здесь: благодатный уголок земли.

232

Верхний перекресток веревок на передней мачте. (Примеч. автора.)

233

Эддистонский маяк – маяк, сооруженный в 1697 г. на скале в проливе Ла-Манш.

234

То есть матросов, вывертывающих воротом якорь. (Примеч. автора.)

235

Эпиграф взят из шестой сатиры Ювенала. У Ювенала эта строка читается так: «Нос volo,

sicjubeo, sit pro ratione voluntas».

236

Так я хочу, так я приказываю, – да будет воля моим доводом! Ювенал (лат.)

237

Брамсель – парус третьего яруса. Брам-стенга – третье колено составной мачты.

238

То есть полощутся, висят не надувшись. (Примеч. автора.)

239

Техническое выражение, округлость паруса. (Примеч. автора.)

240

Фальстаф – герой комедии В. Шекспира «Виндзорские кумушки» (1598), а также его хроники «Генрих IV» (1597—1598).

241

Афонская гора – полуостров на Эгейском море, который известен своими монастырями.

242

Тимур-Ленг – Тамерлан.

243

Ариман – древнеперсидское божество, олицетворяющее злое начало.

244

Тароватый – здесь: щедрый.

245

..похищенною пери на коленях сурового дива... – Пери – в персидской мифологии добрая фея, охраняющая людей от «злых духов»; див – чудовище, злой дух.

246

Мирра – благоуханная смола.

247

Лобзанье Иудино – «иудин поцелуй», выражение из евангельской легенды о предательстве одного из учеников Иисуса – Иуды.

248

Приговор неумытых окюри – справедливых, неподкупных.

249

Косые паруса. (Примеч. автора.)

250

Гюйс – морской флаг, поднимаемый только во время стоянки корабля и при убранных парусах.

251

Мушкель – деревянный молоток, применяемый при такелажных работах и конопатке деревянных судов.

252

Душевное расстройство (фр —)

253

Турникет – хирургический инструмент для зажима кровеносных сосудов.

254

Лисель-спирт. – Лисель – парус, приставляемый при слабом ветре к основным прямым парусам и увеличивающий их площадь.

255

Фордевинд (голл.) – ветер, совпадающий с курсом судна, или курс судна, совпадающий с направлением ветра.

256

Ундерзейль (голл.) – нижние паруса.

257

Грот-марса-рей – брус, прикрепляющий второй снизу парус.

258

Топенант (голл.) снасть, поднимающая и поддерживающая горизонтальные и наклонные реи.

259

В здоровом теле здоровый дух (лат.)

260

Доломан – короткий гусарский мундир.

261

Девять сестриц Парнаса... – в греческой мифологии девять муз, покровительниц искусств, живших на священной горе Парнасе.

262

...сова Минервы... – В древнеримской мифологии богиня Минерва, покровительница искусств и ремесел, изображалась с совою – символом мудрости.

263

Ирида – в греческой мифологии вестница богов, изображавшаяся быстроногой крылатой девушкой.

264

Вулкан – бог огня и кузнечного дела у древних римлян.

265

...сына своей жены... – сын Вулкана Цекуль, бог очага.

266

Мальтийский мундир – форма представителя монашеского католического ордена, обосновавшегося на о. Мальта.

267

Ток – женский головной убор.

268

Вы славный мальчик, честный человек, – но хорошо заметьте мою дверь, чтоб никогда туда не входить(фр.)

269

Не на варшавском ли приступе... – Речь идет о взятии Варшавы русскими войсками 26 августа 1831 г.

270

«Молва» – газета-приложение к журналу «Телескоп», выходила в Москве с 1831 по 1836 г.

271

Ловелас – имя главного героя романа английского писателя Ричардсона «Кларисса», ставшее нарицательным для обозначения волокиты, соблазнителя.

272

Белладонна (красавка) – ядовитое и лекарственное растение.

273

Тацит Публий Корнелий (ок. 58 – после 117 гг.) – римский историк, оратор, прославлявший старинный республиканский строй и обличавший деспотизм императоров.

274

Нойяда (Наяда) – в древнегреческой мифологии нимфа рек и ручьев.

275

Нерон утопил мать свою на галере с окном; подобные плашкоуты заменяли гильотину. (Примеч. автора.)